

Николай Евдокимов
МЕДВЕЖИЙ УГОЛ



Николай Евдокимов

МЕДВЕЖИЙ УГОЛ

ПОВЕСТЬ



ХУДОЖНИК К. БЕЗБОРОДОВ

МОСКВА
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1991

ББК 84.Р7
Е15

Евдокимов Н. Е.

Е15 Медвежий угол: Повесть/Худож. К. Безбородов.— М.: Дет. лит., 1991.— 79 с.: ил.

ISBN 5—08—001567—5

В повести рассказывается, как в крепкой крестьянской семье воспитываются дети, как мудро приучают их родители к трудовой и честной жизни. А жизнь в послевоенной таежной деревушке нелегка, труд промысловиков тяжел и опасен. Но взаимовыручка, дружба помогают преодолеть невзгоды, увидеть в жизни много хорошего и радостного.

Е $\frac{4803010201-237}{М101(03)-91}$ 192—90

ББК 84.Р7

ISBN 5—08—001567—5



Вырос я в сибирской таежной глухомани, в настоящем медвежьем краю. Оно и верно — много водилось вокруг медведей. Пошаливали они: то соседскую телку медведь на выпасе задерет, то разорит-раскатает по бревнышку охотничье зимовье, то иную какую проказу учинит, на то он и медведь, таежный царь.

Деревенька наша притулилась подле речки Темной. Речка была небольшой, и глубины в ней особой не было. Называлась она Темной от цвета ее воды — даже в солнечный день вода казалась в ней черной. Проточив русло в слоях бурого песчаника, речушка текла себе куда-то, перекатывая мелкие камушки-голыши, перемывая на излучинах невзрачный, серый песочек, побулькивая на перекатах и сонно ворочаясь в заводях.

На берегу, густо заросшем пахучим, с редкими, мутными ягодками вереском, накрепко вцепившись сильными корнями в землю, росли мохнатые ели. Темный клин ельника, уходя в распадок, врезался в гору. Там начиналась тайга. Не лес, а настоящая дикая тайга без троп и человеческого жилья.

Все четыре двора деревеньки стояли вразброс.

На въезде жил девяностолетний старик Иван Волков. Старуху он свою давно похоронил и доживал век бобылем. Сманивали его дети — он к ним не ехал, говоря: «Худой угол, да свой». Охотиться по промысловому, постарев, он забросил и лишь зимами поблизости ловил пастями-давушками зайцев. А зимы стояли с холодами, были долгими. Прожил старик ровно сто десять годков и отошел, совсем не болея, будто совершил обычное дело; был жив-здоров, грелся на солнышке, ругал во дворе собаку, а потом взял и умер. Похоронили его без лишних слов, да и к чему они? Человек прожил свое — вот и все. Но в ту пору, о которой я пишу, он был еще не по годам крепок, про таких стариков у нас говорят: «Два века проживет».

Что касается соседей, то на четыре двора деревни хозяева трех звались Иванами. Иваном Максимовичем прозывался сосед наш по ряду, охотник-промысловик.

Он имел кучу детей, рассаживались они за столом по возрасту, лесенкой, а в зыбке обычно ревел очередной Иванович. Ребятишки росли крепкими, голосистыми и редко болели, а простуда их вовсе не брала, лапотинка на них была так себе, годами переходила от старших к меньшим, оттого они были закаленными и стужи не боялись. Да и откуда было напастись на такую ораву доброй одежды — не так давно кончилась война, и с одежонкой было туго. Если есть на четверых одни валенки, то это хорошо, а если на двоих одна пара обуток — уже счастье...

Через дорогу стоял дом другого Ивана — лесника. Его мы редко видели дома, он большей частью пропадал в тайге, на обходах. Ходил он в солдатской шинели и форменной лесниковской фуражке, ступая легко и неслышно — как ко зверю подбираясь. И собаки у него были ему под стать, не пустобрехи, сидели во дворе тихо, как и нет их.

Да и не держали у нас в деревне худых, никчемных собак, собаки были промысловыми, которые и белку с соболем подлают, а если крупный зверь попадется, то и его остановят.

Жила деревня без электричества, по вечерам в избах жгли керосиновые лампы.

У нас была лампа-молния. Огонь ее, конечно, на блеск молнии не походил, но у стола, над которым она висела, было светло и уютно. По лампе примечали погоду. Если фитиль ее начинал коптить, то это к ненастью, а если шипел и потрескивал — к дождю.

Бо́льшую часть избы занимала печь, сбитая из глины по всем правилам печного искусства, со сводом, шестком, челом и загнеткой для угля. К печи полагался целый набор печного обихода: горшки-чугунки, два ухвата,

сковородник, деревянная лопата, помело из кедра, щипцы, нож-косарь для лучины и широкая заслонка.

Когда мама пекла хлеб, то со стороны это походило на колдовство. Сперва решетом, потом мелким ситом просеивалась мука и заводилась квашенка. К утру по избе плавал чуть слышный, кисловатый запах взошедшего теста. Уложив в печь дрова — сухие до звона лиственичные поленья, мама́ пучком смолья затопляла печь. Дрова занимались, и через полчаса в печи ходило, постреливая угольками, пламя. В это время веселкой подбивалось тесто.

Наконец печь была готовой.

Когда оседал жар, мама, убрав в загнеток угли, выметала под печи помелом. От жары помело начинало трещать, по избе расходился запах живого кедра.

Ловко шаркая о под лопатой, мама высаживала хлеб выпекаться. Затем чело прикрывалось заслонкой, и где-то в утробе печи, попыхивая, рождался хлеб.

И вот из печи бил неистребимый дух свежего хлеба. Хлеб был готов. Какие красивые, с коричневой корочкой вынимались калачи и караваи — хоть на выставку!

Я помню, что однажды мама плакала, как могут плакать при большой обиде: у нее не удался и сгорел в печи хлеб.

Хлеб берегли, за обедом от ломтя отламывали столько, сколько можешь съесть.

Запомнил я на всю жизнь, как отец больно-больно щелкнул меня по лбу ложкой и выставил из-за стола за то, что во время еды из озорства я слепил из хлебного мякиша утку. На лбу мигом вскочила шишка, я давился слезами, а отец, облизав ложку, заметил:

— Это ничего. Бычок по лбу скакнул!

И уже не от боли, а от его обидного «бычок по лбу скакнул» я заревел еще громче.

Не знаю, но кажется, этим далеко не педагогическим приемом отец навсегда отбил у меня охоту баловаться хлебом. Кусков не выбрасывали. Их скармливали курам, собакам, крошили в пойло корове Апрельке, кормилице нашей семьи.

Русская печь в нашей домашности играла особую роль. На ней спали, отлеживались и прогревались при простудах, печь давала тепло и хлеб. А к хлебу всегда находился в доме приварок — рыба, звериное мясо, молоко, огородная овощь.

...К добыче рыбы, сбору ягод, грибов и прочих даров леса отец нас приучал с малолетства. Приучая нас ловить рыбу, отец приговаривал — и не без основания,— что в жизни это потом пригодится.

Обучение промысловому лову началось еще до школы — лет с семи. Мы учились у отца делать и ставить переметы, помогали распутывать и латать сети, навязывать грузила и крючки. А больше всего нам понравилось колотушить. По осени, когда из тонкого, прозрачного ледка появлялись на плёсах забереги, отец отправлял нас на реку.

— Ребятишки, вставайте! — тормошил нас он утром.— Вставайте живо, идите рыбу колотушить!

Мы, разлепив кое-как со сна глаза, слезали с печи, одевались.

— Спать охота! — нудили мы с моим братом-близнецом Мишкой.

— Баловать вы мастера, а как колотушить, так вас нету! — ворчал отец.— Собирайтесь быстрее!

Но вот сон уже позади, а впереди рыбалка, чем-то похожая на спортивную охоту. У нас с собой шитый из бересты чуман под рыбу, легкий, острый топорик и березовая колотушка с накляпом на конце. Это и есть вся снасть для рыбалки.

— Осторожно там! Под лед не провалитесь, возле берега колотите, в реку не ходите далеко! — поучал нас отец, выпроваживая из избы.

И вот мы на улице, идем к речке. Я несу чуман и топор, у брата на плече колотушка. Уже занялся осенний день, под холодным солнцем мертво отсвечивает обледенелая трава, да кое-где белеет в ней снег.

Над речкой, в полыньях, по стремнине плывет холодный туман-парун, кругом звонко, гулко. Слышно, как в нашей стайке заорал петух, ему сипло подпел кочет Ивана Максимовича, да у дедушки Ивана во дворе взахлеб залаяли собаки.

Спустившись с угора, мы выходили на лед. Лед тонкий, прозрачный, с пузырьками застывшего в нем воздуха. Сквозь лед видно илистое с бледными плетями водорослей дно, по которому пробуравили зигзагами свахи-широколобки. Сами свахи, зарывшись в донную грязь, смирно спят, выставив хвостики наружу, но нам не нужны свахи, мы выискиваем добычу покрупнее.

И вот она найдена! Ткнувшись тупой головой в берег, шевеля жабрами, словно перекачивая через себя воду, на дно залег в серых пятнах-разводах налим. Налима нужно брать с наскоку, иначе он уйдет с мели в реку, и там его не добыть. Вытянув впереди себя колотушку, я подскакиваю к налиму с хвоста и бью колотушкой о лед.



— Тресь!..

По льду слышен тупой удар, мне видно, как рыбина, широко разинув рот, так что и жабры у нее изнутри видать, оглушенно поматывая хвостом, всплывает кверху брюхом и прижимается ко льду. Брюшко у налима полное, тугое, матово-бледное.

Братишка, для удобства встав на колени, прорубает лунку во льду и вытягивает налима наружу. Рыбина, хватанув воздуха, круто выгибается, пытаясь повернуться, но ее суют в чуман, и она возится там, шаркая хвостом по берестяному нутру.

— Один есть! — переговариваемся мы, выискивая новую добычу.

У нас уговор: кто первым увидит рыбу, тот ее и добывает.

— А вот налим стоит! — говорит мне брат, тыча пальцем под берег.

Я всматриваюсь и вижу, что не один там стоит налим, а два. Залегли они головами друг к другу.

— Глянь, целуются!

— Счас мы их...— И брат, подскочив к рыбинам, взмахнул колотушкой.

Налимишки, вздрогнув, вяло всплывают, задумчиво поводя плавниками.

Я прорубаю лед, а брат, довольный двойной удачей, распевает во все горло:

Ты рябая, я рябой,
Поцелуемся с тобой,
Пусть люди дивуются,
Как рябы целуются...

Братишка у меня способный, и память у него крепкая. Частушек, загадок и иной словесной забавы знает во множестве и иногда впопад такое отмочит, хоть стой, хоть падай. И кто его этому учит? Загадками он может заморочить любого. Вот например: «Ни зверь, ни птица, на седало вниз головой садится». Загадал он эту загадку вечером, в ужин. Как ни бились над разгадкой, не могли ее отгадать. Оказалось, это летучая мышь.

Уложив налимов в чуман, мы идем по забереге дальше. Наколотить нам надо рыбин с десяток, на пирог. Впрок по осени мы налимов не готовим: солить их невкусно, морозить еще рано — на дворе не холодно, и рыба измозгнет*. И лишь только по зиме мы будем ставить с отцом под лед крючья, добывая рыбу для ухи, пирогов и жарехи...

*Объяснение местных, устаревших слов и выражений, отмеченных звездочкой, помещено в конце книги.

...Зимы были с холодами за сорок, которые почему-то назывались «клящими». Обычно на дворе повисал тяжелый, плотный туман и делалось пустынно тихо. Незаметно, потихоньку начинал давить сильный мороз. Изба, как бы жалуясь, потрескивала, постукивала, поскрипывала. Трещал потолок, тонко, по-детски пищала в притворе со скрипом дверь, шипел в лампе фитиль. С улицы доносились неясные, глухие, словно в бубен, удары — на реке лопался от холода лед, выжимая из-под себя воду, образовывая высокие наледи.

Морозы действительно были трескучими.

Вслед за ними, после неслышного, мягкого снегопада, приходили ясные, погожие дни. В такую пору мы играли на улице. Насидевшись в избе, я всегда по-новому видел наш двор. Но двор, огороженный по-сибирски глухим заплотом и толстенными — хоть тараном их вышибай — воротами, был только преддверием. Самое интересное было на улице.

Катались на санях, благо снегу наметало много, а напротив, через дорогу, высилась пологая горка. Санки были одни на четверых, не такие, какие делают сейчас, легонькие, из алюминия саночки, а своедельные сани из березы. Сработаны они были по подобию настоящих саней-розвальней и отличались от них только размером. С круто загнутыми полозьями на березовых копыльях и тальниковыми вязами они были неуклюжими и тяжелыми. В гору затягивали их гурьбой, впрягаясь в лямку.

Чем выше поднимались мы в гору, тем дальше отступали и меньше казались избы, бани и амбары. Деревенька оказывалась внизу, возле парящей наледью реки. Следом за нами увязывались со двора собаки: черная, верткая, как юла, Жучка и лохматый, с острыми ушами Верный.

Поднявшись на гору и усевшись на санях, мы дружно отпихивались ногами от снега. Поначалу, неохотно сдвинувшись, скрипя деревянными суставами, санки кое-как сползали с макушки горы. Шли они сперва не ходко, но потом помаленьку брали разгон, и вот мы катимся.

Казалось, что в движение пришло все: небо, лес за рекой, дорога. Плясали и подпрыгивали кособоко избы, заборы, сугробы. Сзади и сбоку, настигая нас, пластались по сугробам собаки.

Сани все шибче, скорее летели по склону, подбрасывая на раскатах и ныряя в колдобины, выезжали на накатанную дорогу. От скорости захватывало дух, рябило в глазах. Затем, резко вильнув, сани с маху влипали в придорожный сугроб и, крякнув, опрокидывались. Передний седок кубарем перелетал через баран и торчмя летел в снег, остальные горохом

раскатывались по дороге. Набежавшие собаки попадали в свалку. Стоял лай, визг и смех.

Катались подолгу, пока мать не загонит в избу. Наголодавшись, иззябнув на улице, ели все под метелку, с аппетитом.

Не помню особых игрушек для домашних игр. В ходу были жужжалки, немудреные самоделки. Жужжалка — это небольшая говяжья или баранья кость с четырьмя отверстиями, в которые продет шнур с петельками. Приводя в движение кость, нужно, разводя руками, закручивать шнур. Тогда жужжалка сама закручивает и раскручивает его, вращаясь с большой скоростью, и при этом жужжит:

— Жжж-ууу... Жж-у-ууу...

Если шнур лопался, то кость, отлетев, могла съездить по лбу. Отец, вечером вернувшись домой и увидев у кого-нибудь на лбу синяк, безошибочно узнавал:

— Что? Жужжалка лопнула? Ну, неси ее сюда, я к ней новую тетиву привяжу!

* * *

Особое место в нашей жизни занимали дикие звери и зверушки. Тайга чувствовалась даже дома, так как какой-нибудь зверек обязательно у нас жил.

Одно время держали мы зайца Федю. Жил Федя под печью. Его загнали отцовы охотничьи собаки, крепко помяли. У Феди была прокушена лапа, и он волочил ее. Заяц всего боялся.

Отодвинув деревянную решетку, мы с братом Мишкой, зацепив зайца кочергой, вытягивали наружу.

Заяц отчаянно, по-детски верещал. Прижав бьющегося косого к полу, мы насильно впихивали ему в рот кусок сахара, думая по своему неведению, что тому должно быть вкусно. Зайчишка бился в руках, хвост у него начинал мелко-мелко трястись, лапы скребли половицы, уши стригли воздух. Наконец, вырвавшись, заяц опрометью залетал под печь.

Однажды он больно прокусил палец брату, из чего мы сделали открытие, что зайцы тоже кусаются. Отец, узнав, откуда у брата на пальце ранка и кровь, отнес зайца в лес. Но мы недолго горевали — вскоре у соседей появились маленькие медвежата Мишка и Машка.

Медвежата были головастыми, похожими на клубки бурой шерсти. Держали их в бане. Привстав на цыпочки, подтянувшись к узкому оконцу,

я подолгу наблюдал за ними. Со стороны интересно на них было смотреть.

Ворча и покряхтывая, перекатываясь из угла в угол колесом, медвежата возились, боролись. Вот сверху Мишка. Он, оседлав Машку, уцепив за загривок, треплет ее. Упираясь лапами в половицу, Машка тихо и угрожающе ревет. Ей больно, но избавиться от медвежонка у нее не хватает сил. Тогда она идет на хитрость: упав на живот, подтягивается к Мишкиной лапе и кусает ее.

Рявкнув от неожиданности, Мишка отпускает Машку на какой-то миг, но этого ей вполне достаточно, она в два прыжка скрывается под полком. Следом за ней мчится Мишка. Под полком темно, и мне не видно, что там происходит. Оттуда летят старые стерханые веники да слышен рев.

Наконец сильно помятая Машка быстрым махом вскакивает на полок. Она скулит, жалуется на медвежонка, и похожа на девчонку, которую обидел озорной брат. Спустится Машка вниз не скоро, она вволю наревется, наскулится, и лишь только потом они как-то незаметно помирятся.

Иногда я заставал такую картину: на полу, в квадрате солнечного света, что попадал в баню, пригревшись в лучах его, мирно обнявшись, спали Мишка и Машка.

Я подолгу мог смотреть на них, и только что-нибудь постороннее отвлекало меня от этого созерцания.

— Васса, Кольку моего не видела? Запропал где-то, ищу, ищу!

— Да где же ему быть-то? Никак, опять у бани. На медвежат любуется! Я уж своего-то парнишку намедни* драла! Весь сахар им перетаскал! Пропасти на них нету! Все зобают!*

И Васса Дементьевна, крупная, с красным лицом женщина, выплыв из-за амбара, гнала меня от бани.

— А ну, дуй домой! Ишь, забавушку нашли. Добро бы, диво какое, а то медвежата!

По субботам, истопив баню, завернув в узелок наше бельишко, отец вел всех мыться. Банька стояла за огородом, на узгорке, подле речки. Мылись под вечер, почти в сумерках. В тесноватом предбаннике на лавке стоял фонарь, тускло светя сквозь закопченное стекло.

Наскоро поскидав с себя одежду, мы голышом заскакивали в баню. В ней пахло дымом — печь-каменка веяла скрытым жаром.

С фонарем в одной руке и веником в другой входил отец. Вдоль голе-

ней у него фиолетовыми лампасами темнели шрамы. Отец воевал, был че-
тырежды ранен. Пришел он с войны весь простреленный, на костылях,
принес домой ордена, лейтенантские погоны и шрамы. Преодолев себя,
отец наново выучился ходить, много работал, подымая нас, а было нас у
него четверо.

Для начала, плеснув в таз кипятку, отец распаривал веник, тряс им,
пробуя, отошел ли...

Мытье заключалось в следующем: усадив всех на полок, отец бережно
постегивал нас по очереди веником. Веники были трех сортов — березо-
вые, пихтовые, а летом крапивные. Крапивными вениками парился он
сам, звонко нахлестывая им больные ноги, покрикивал:

— Ножки мои, ножки, винца вам иль сапожки?

Было смешно, как это можно спрашивать собственные ноги, чего им
надо.

— Смеетесь? — говорил отец, натирая рубцеватые шрамы едучим му-
равьиным спиртом.— Мои ноженьки ничего, кроме спирта, пить не желают!

Спирт для отцовых ног мы заготавливали сами, когда он брал нас
в лес собирать черемшу.

Черемшу рвали на Оболкинской речке, там ее всегда много росло.
Набив плотно сумки пучками сочных, припахивающих чесночным духом
листьев, несли их домой. Дома мама черемшу крошила, пересыпала солью
и укладывала в кадку, придавив сверху гнетом — плоским камнем-окаты-
шем, который от долгого им пользования пропах черемшой и озеле-
нился.

Черемшу готовили на зиму. В погребе за лето, соленая, она не портится,
а по осени кадушку выкатывали в кладовку, откуда и брали витаминный
продукт до самой весны.

— Ну, ребята,— говорил нам с Мишкой отец,— собирайтесь по черем-
шу. Теперь у нас уже шесть ног, шесть рук, а подрастет Женька, станет
восемь! Быстро наносим на зиму черемши!

Мы всегда ждали того дня, когда пойдем с отцом в тайгу, потому что
ходить с ним всегда было интересно — он учил нас ходить по лесу так,
чтобы не заблудиться, показывал следы зверей, разъяснял, как нужно
распознавать их: когда именно этот или другой зверь прошел, чем он
кормится и где обитает, и как его можно добыть. Все, все знал о тайге отец,
потомственный промысловик, кормивший всех нас от охоты.

До Оболкинской речки нужно было идти тропкой, через хребет, бором.
Красиво было в том бору. Сосны высокие, мачтовые, похожие на ги-

гантские карандаши с золотистой окраской, с темно-зелеными маковками-макушками. И воздух в бору всегда свежий, легкий, прозрачный, с запахом смолы. И весело в бору бывает, в нем никогда нет тишины, все время стоит стук — это дятлы на стволах выколачивают чечетку, порхают и пищат синицы по сучьям, носятся по валежнику бурундуки, ершится по полу сплошным покровом брусника, а на солнечных угорах рыжими вулканами пучатся муравейники.

На ходу, вдоль тропки, отец ставил в муравейники пустые бутылки, оставляя снаружи только горлышко.

Суетливые муравейчики, взбираясь на кромку горлышка, любопытствуя, заглядывали внутрь бутылки: «Что там?» — и сваливались десятками на дно. Обратно ходу уже нет

Когда муравьи в бутылке от духоты запарятся, ее закупорят, затем облепят тестом, поставят в горячую печь, пока тесто не пропечется.

Муравьи выделяют резкий эфирный спирт, и получается ценное снадобье от ломоты, ревматизма, прострела.

Мы, разложив наслюнявленные прутья по муравейникам, ждали, когда мураши облепят его. Мураши бегали по прутикам, выделяя спирт, а потом, если облизать прутик, во рту так свяжет и станет так кисло, что глаза под лоб заведешь и уши полезут на макушку.

И вот однажды в солнечном бору мы столкнулись с последствиями неразумной человеческой жестокости.

— Что, сыны, заморились? — спросил нас отец, вышагивая впереди по тропке.— Потерпите. Немного осталось... Дойдем до перевала, а там тропа пойдет вниз.

Но до перевала мы не дошли. Справа от нас закружились и закаркали вороны, спугнутые собакой.

— Слышите? Вороны раскричались... Там, видно, пропастина! Идемте-ка туда, посмотрим, кого клюют вороны... Ступайте за мной тихо! — сказал отец и, сняв ружье, направился на вороний крик.

Мы пошли следом. На маленькой полянке, подмяв под себя голубичник, лежал исклеванный воронами медведь. Смерть схватила зверя на ходу. Он лежал выбросив вперед лапы, будто собираясь рвануться в чащу, да так и застыл.

Перебивая лесной воздух, от медведя плыла густая трупная вонь. Шкура на медведе словно по швам распоролась, расселась, а вместо глаз, до самого донышка выклеванных воронами, краснели впадины.

Мы стояли, с боязливым испугом и удивлением разглядывая пропав-



него зверя. Отец, обойдя вокруг поверженного медведя, потыкав в него хворостиной, уверенно заключил:

— От раны подох!.. Идем, ребята, к тропе. Там отдохнем. Верный, за мной!

Круто повернувшись, отец зашагал прочь, мы, как нитка за иглой, потянулись следом за ним.

На тропе отец нашел стреляную гильзу от карабина, повертел ее, зачем-то сунул в карман и прочел нам наставление, что, пока не наступит август, добыть медведя — значит, напрасно погубить его, ухлопать зверя «для счета». И шкура и мясо у него негожи — шкура облезлая, без волоса, проку от нее никакого — даже собакам на подстилку не пойдет. Мясо в пищу тоже бесполезное, жесткое, жилистое, постное. Не нагулял медведь жиру — за зиму зверь в берлоге отощал, а весной с проталин не шибко-то раскормишься. И если кто-нибудь похваляется, что в начале лета убил медведя, то знай — он не промысловый охотник, который не только добывать должен, но обязан и беречь, а душегуб, понапрасну, из озорства убивший зверя.

— Тряхнул бы я его за грудки, да так, чтобы зубы у него брякнули,— сердито сказал отец.

Я знаю, случись такое, обязательно бы тряхнул, и тряхнул крепко.

Отец с войны контуженный, расстраиваться ему было никак нельзя, как рассердится, так с ходу становится злой и ведет себя круто, сразу идет в атаку. Тогда беги от него со всех ног, улепетывай быстрее. Иначе догонит, наподдает, да так, что долго потом будешь помнить...

Натерев ноги спиртом, отец, усадив нас на лавку, рассказывал:

— Вот вы не верите, что ноги можно спрашивать, можно им водочки или нет... Ладно, тогда слушайте.

Жил один мужик-бобыль, горький пьяница... Богатеть ему было не с чего. И решил он: «А женюсь-ко. С женой-то, может, и выправлю хозяйство, вдвоем-то оно сподручнее...» Да вот беда — ходил мужик лето и зиму босиком, не было у него обутки. А кто за босяка пойдет? Ладно... Нанялся бобыль в работники, от пасхи и до пасхи на хозяина работал, сено косил, хлеб молотил и воду возил... Работал как черт, пить забросил, стали люди поговаривать: «Глякось, мужичок-то за ум взялся, пить не пьет, лишь хребет свой гнет, такому впору и жениться...»

Хорошо. Отработал мужик, пришел к хозяину: «Давай расчет! Я и сеял

и пахал, я и граблями махал!» Рассчитал мужика хозяин. Много, мало ли дал, но одежку-обувку можно было справить, избу поправить.

Пошел бобыль на базар, сапоги себе покупать. Вот приходит он, видит кабак и выпить захотел, прямо страсть... «А ну-ко, заверну я перво-наперво в кабак, винца рюмочку пропущу и людей добрых послушаю». Занесло его в кабак, деньги хлоп на стол: «Наливай, кабатчик!» Выпил, захмелел и еще просит: «Дай вина, я работник Ермил, водки год не пил и мошну скопил!» Смекнул кабатчик, что запил мужичонка, вина ему выставляет, закуску несет: «Пей, гостенек дорогой, и музыку слушай!»

Вот Ермил пьет, потом плясать пошел, босыми пятками пол буровит, припевает: «Ножки мои, ножки, винца вам или сапожки?» Так все деньги в кабаке и оставил, на водку спустил.

— Пап, жалко мужика.

— Нечего жалеть. Пей, да ума не пропивай, а ну, нагнитесь! — И отец, зачерпнув кипятка, плескал им на каменку.

Из каменки с хрипом била жгучая струя пара, воздух становился нестерпимо жарким, мы шустро слезали с полка, усаживались на пол.

— Жарко, папа!

— Это ничего. Не брала бы лихота, духота-то не возьмет! Мойтесь вот!..— И отец ставил на пол таз с водой, давал нам в руки жесткие намыленные вехотки.— А я попарюсь!

Забравшись на полок, отец настегивал себя веником, крякал, покряхтывал. Парился он подолгу, отдыхал на скамеечке и снова лез на полок. Напарившись, он мыл нас еще раз и в заключение окатывал холодной водой.

Самая острая процедура в банной церемонии — это ушат холодной воды, вылитый на голову. Холодный поток, короткий и быстрый, как удар, на миг парализует тебя, от него вздрагиваешь всем телом, вскрикиваешь. На этом мытье заканчивалось.

Когда мы возвращались из бани, на небе холодно сияли звезды.

К дому шли неторопко, гуськом. Вот впереди чернеет фигура отца, от фонаря желтый свет падает на тропку, сзади тащимся мы, где-то лают собаки.

* * *

Осенью отец уходил в тайгу на промысел. Уходил на дальние угодья, добывал там зверя и птицу. Сборы он обставлял некоей тайной, о них можно было только догадываться. Будучи человеком без предрассудков,

отец все-таки свято верил, что в тайгу нужно отправиться тихо и незаметно, иначе «фарта не будет».

Но мы всегда знали, когда отец уйдет в тайгу. Во-первых, мама пекла хлеба больше обычного, приносилось и исчезало в отцовской котомке сало, масло, чай, сахар и спички. Мама пыталась впихнуть в нее еще что-нибудь, но все это отвергалось отцом и вновь перекочевывало в кладовку.

— Ты что? Котомкой хочешь меня задавить? — спрашивал он, выкладывая из раздувшегося мешка банки консервов.— В походе и иголка тяжела!

— Папа, а ты куда пойдешь?

— Это еще что? Куда да куда... дорогу закудакивать! Марш на печь! И не имейте моды спрашивать! — Отец, приторочивая к поняге* мешок, строго вскидывал голову. В такие минуты к нему было боязно подходить— мог и шлепка дать.

Мы, покорно взобравшись на печь, молча наблюдали за сборами. Послабление делалось только Женьке. Ходить и говорить он еще не умел и, ползая у стола, хватался за отцовы сапоги, топор, ружье.

— Мать, убери меньшого, у меня руки в масле! — просил отец, смазывая ружье.

А на дворе взлаивали и скулили собаки. Каким-то особым чутьем они знали, что впереди им предстоит охота.

Собрав и приготовив все, отец присаживался на лавку, о чем-то думал.

— Мать, давай нам ужинать, ребятишки, идите есть!

Получив разрешение, мы слезали с печи, взапуски бежали к столу, рассаживались. Отца уже как подменили: из строгого родителя он превращался во взрослого ребенка.

— Пап, а медведь страшный?

— Положим, что и так! Но нам медведи нипочем, зашибем и кирпичом! — И он добродушно посмеивался.— Мать, собак кормила?

— Да не едят... Все стоит целехонько!

— Не едят, говоришь? Добрая примета. Ежели не соврет, то быть с добычей.

Поднявшись утром, мы не заставали отца дома. Потемну, до рассвета, он уходил в загадочную тайгу.

Отсутствие строгого родителя сразу же сказывалось на нашем поведе-

нии. Мы расхолаживались и делали то, что при нем не дозволялось. Можно было сколько угодно бегать по улице, шуметь за столом, обидеть младшего брата, без спросу взять старые отцовы лыжи.

— А папка промышлять ушел! — первое, что мы сообщали, придя к Ивану Максимовичу.

— Куда пошел-то? — как бы невзначай интересовался тот, сворачивая самокрутку из злейшего самосада-листовника.

— Не говорил. Собак взял, и все!

— Собак-то взял обеих?

— Обеих, и лыжи взял!

— Надсадит сучку... Она, никак, щенная уже.— И Иван Максимович, чиркнув спичкой, припаливал цигарку, выпуская едучую струю дыма.

— Видишь, ушел сосед-то! — И Васса Дементьевна, выйдя из кутя*, вытирая о фартук руки, подступала к мужу: — Белок он пошел добывать, один ты сидишь, седулку свою греешь, к лавке ей прирос!

— Морошно!* — возражал ей супруг, глянув в окно.— Снег валит мягкий, белке еще не ход!

— У тебя всё отговорки.— И хозяйка принялась косарем скоблить столешницу.

Дерево под ее сильной рукой скрипело, летела лузга.

— Сидишь, куришь, куришь, продыху от листовухи твоей нету, в избе хоть колун вешай, не свалится — от дыму твоего повиснет!

— Будет тебе, настанет пора, пойду! — Иван Максимович, заплевав окурок и кинув его в лохань, выходил на улицу.

— Мамка-то дома? — выспрашивала нас хозяйка.— Ин, ладно, пойду-ка, ниток у нее попрошу! — И, накинув платок, выходила следом за мужем — ее зудило женское любопытство, разузнать, надолго ли и куда ушел охотиться наш отец.

Но мама строго держала в секрете тайну, где он охотится, и соседка возвращалась ни с чем.

Возвращался отец всегда неожиданно.

О его приходе нас оповещал лай собак. Опередив хозяина, умные лайки скреблись в дверь, скулили. Особенно усердствовал Верный, умный, хороший кобель.

Мы не сами его вырастили. Купил его отец у своего знакомого эвенка Гани. Жил Ганя где-то далеко в тайге и на люди появлялся редко. Отец

отдал за собаку лодочный мотор — большую в то время редкость, заплатил еще деньгами, ну и вином угостил старого друга.

Эвенк потом так разгулялся, что увозила его, пьяненького, на третий день жена.

— Бойе!.. Труг!..— кричал из лодки бывший хозяин Верного.— Сопаку береги, какой топрый сопака! — И эвенк, пьяно кособочась, приветливо протягивал руку, пытался выбраться из лодки прямо в воду.

Супруга, жилистая, сильная женщина, одергивала Ганю, прижимала его веслом ко дну лодки и улыбалась нам скуластым, загорелым лицом. Они долго еще препирались в своей лодке, пока течение не унесло их самосплавом за мыс.

Эвенки уплыли, а собака осталась у нас. Поначалу кобель тосковал, плохо ел, с трудом привыкал к нам, выл по ночам, а потом обвыкся.

Первое его качество, которое нам вскоре открылось, было то, что кобель совершенно не признавал домашней птицы, кошек, коров и телят. Для него они были зверями. Выросший в дикой тайге, он и воспитан был дикарем, и все, что гуляло во дворе, представлялось ему добычей, которую нужно поймать, задавить, облаять. Для начала, желая показать, что в нем не ошиблись, Верный придушил трех кур. Хорошо, что наших, а не соседских. Кобеля лупцевали, сажали на цепь, но он продолжал давить курочек, цыпушек, задушил кота, приняв его за соболя, перегрызся со всеми деревенскими собаками, и сам не раз был ими кусан.

За урон в хозяйстве мама подступала к отцу со скандалом, а Верного обзывала Тунгусом.

— Опять твой Тунгус курочку задавил! — песочила она отца, для наглядности потрясая перед его лицом бездыханной птицей.— Соболя еще в лесу, а куриц уже нету!

— Ладно тебе! — отбивался отец.— Вот придет осень, соболями тебя завалю.

— Соболями!.. На что они мне? Мне в них не рядиться! А яички, что, сам нести будешь? Тунгус твой уже шесту курицу угробил, и курицу-то какую... Самую несушку!

— Будет тебе, говорю.

— Пар бы вышел из твоего кобеля, из-под медведя бы ему не встать... Под ним и околеть!

И мама долго еще причитает о курочке-несушке, накликивая на Верного все беды, какие только у собак могут быть.

Но пар из Верного не выходил, и отец с ним за осень добыл столько

пушнины, сколько и во сне нам не снилось. Одних только соболей сорок штук, и каких соболей!..

— Ну, что я тебе говорил? Ребятишкам из одежонки что надо накупим, тебе товара, какого захочешь, — на все теперь денег хватит! — говорил отец, перебирая шкурки соболей.

И вот Верный своим появлением извещал нас о возвращении отца.

— Папка с охоты идет! — И мы, как по команде, кое-как накинув на себя пальтишки, шустрой стайкой вылетали за ворота, на дорогу.

И вот у изгиба реки появлялась на снегу подвижная черная точка. Взяв от ельника напрямки, с охоты возвращался наш папка. Отпихиваясь посохом, наддавая ходу лыжам, он подходил все ближе. Уже и лицо можно разглядеть, и одежду. В суконной куртке, с ножом на поясе и ружейным ремнем через плечо отец чем-то походил на партизана с книжной картинки. Волосы и шапка от инея побелели, на воротнике куртки мелкие сосульки, слышно, как скрипит под лыжами снег:

— Ши-ихх... Ши-и-ххх...

Подкатив вплотную, отец резко затормаживал, снимал тяжелую котомку, нагнувшись, отстегивал юксы* на лыжах.

Тотчас же к нему подходила мама — [illegible] была, и откуда вдруг взялась? Не было ни [illegible] заботливо отряхивала с его шапки снег:

— А и в снегу же ты, Евгений...

— Кухта* в ельнике, и за шиворот и на голову так и валит! — говорил отец, окидывая нас быстрым взглядом. — Колька, ты почему выскочил [illegible]мачом? Уши ознобишь!..

И верно — второпях я выскочил на улицу без шапки.

В дом валили гурьбой, каждый нес что-нибудь из отцовского снаряжения. Кто лыжину, кто посох.

После долгого умывания над тазом отец отвязывал от поняги мешок и выкладывал из него добычу. Чего только не переносила в себе его брезентовая котомка! От серых рябчиков до тяжелых, как свинцом изнутри налитых, в сине-черном пере глухарей с матовыми клювами и рябиново-алыми бровями, от собольих и беличьих шкурок до мяса лосей и медведей.

Обыденно, совсем без гордости, отец вынимал свои таежные трофеи, добытые тяжелым, полным риска трудом. Просто все это, эти соболя и белки, тетерева и глухари, лоси и косули, теряло для него всякий интерес, становясь его добычей. Оставалась память — самое надежное и прочное в жизни промысловика. Можно забыть все, но удачной охоты — никогда.



— Ребятишки, идите-ка сюда! — Отец что-то искал в котомке и наконец нашел.

— Нате, ешьте, заяц вам из тайги гостинцы отправил! — И на свет появлялись в крошках сухарей кусочки сахара.

— Пап, а сахар заяц Федя принес?

— Он. И еще наказывал кланяться.

— А Федя к нам больше не придет?

— Не знаю. Разве только надумает!..— И отец заразительно смеялся.

Я теперь знаю, скольких усилий отцу стоила его веселость, ведь возвращался он, как правило, смертельно уставшим — он просто не показывал виду.

— Ты ешь, Евгений, больше! — уговаривала его как маленького мама, подливая ему в миску щей.— Осунулся-то! Одни уши торчат!

— Ничего, отойду! — успокаивал ее отец, уже разомлевший от еды и тепла.

Добравшись до постели, он мигом засыпал, едва коснувшись головой подушки.

А вечером или утром как-то сами по себе приходили соседи. Первым, долго шаркая в сенях голиком* по валенкам (берег старик обутку!), появлялся дедушка Волков. Сняв обесцвеченную временем древнюю, как и сам он, шапку, кивая лысиной с белыми кисточками волос, здоровался с отцом, присаживался на припечек.

— Слышу, собаки во дворе лают, ну, знать, ты воротился!.. Дай-ко, думаю, схожу, попроведаю! — Старик широко, как младенец, улыбался, во рту желтели, как на худой пиле, через один, зубы.

— Как жив-здоров, дедушка?

— Ай?..— Подставив ладонь горсточкой к уху, старик вопросительно смотрел на отца.

Конечно, теперь мне понятно, что глуховатый девяностолетний дед не мог услышать лая наших собак и к нам в избу его загнало любопытство.

— Снегу нонче много. Я чай*, собакам-то по снегу трудный ход? — интересовался дед для формы.

— Да, снегу много! — соглашался отец.

Приход старика веселил его. Он наперед знал, что тот в разговоре будет выведывать, сколько и чего он добыл.

— Соболя хорошо этак брать! — Дед утвердительно самому себе кивал головой.— С добрыми-то собаками, по свежему следу враз загонишь его!

Соболь в снегу грузнет, далече не идет! — И старик выжидательно-молча смотрит на отца.

Но из отца не так просто выудить, сколько соболей он добыл.

— Деда, может, чаю попьешь?

— Чаю?.. Ну, чаю так чаю! — И старик прямо в шубейке перемещается к столу. Чай он пьет внакладку, за кружку держится, как за оглоблю, пятерней.

— Скус не тот стал!..— жалуется он отцу.— Отбило скус, хоть солому мне завари!

Но чай старик пьет с удовольствием, звонко побалтывая ложечкой в кружке, пальцы у деда корявые, как древесные корешки.

— Вот этак же... Я молодой еще был, до японской войны, раз пошел белковать, уружье было так себе — пистонка, с неба заряжалась, пока ее перезарядишь, корова отелится... Набрел на кедрач, а белки в нем — страсть как много!.. С утра и до темна промышлял, бил, пока мушку видно...— И, помолчав, спрашивал напрямую: — Много нонче белки-то?

— Мало, деда! По осени кедровка с кедра шишку спустила, белка куда-то откочевала.

— Значит, колонка много...— заключает дед.— На беличьих местах его всегда дивно водится!..

— Здорово живете! — Плотно прихлопнув за собою дверь, входит Иван Максимович.

В ондатровой шапке, косматой собачьей шубе, сам чем-то напоминавший сильного, большого зверя, кряжистый, Иван Максимович с ходу занимает место у стола. На лавку он садится плотно, грузно.

— Давно вернулся?

— Да нет, вчера.

— Хорошо, успел...— Иван Максимович достает из кармана плоскую баночку из-под леденцов, открывает ее. В банке крупно крошенный табак-самосад и сложенная гармошкой газета для закрутки. Склеивая папиросу, он добавляет: — Еще день-другой, и завалит тайгу доверху снегом.

— Куды там, еще постоит! — возражает дедушка.— Я вот помню, эдак же в тридцатом годе...

И тут начинаются рассказы, настоящие, без вранья и хвастовства, воспоминания об удачных и неудачных охотах. Чего только нет в них! И медвежьи берлоги, и добытые соболя «черные, что вороново крыло», и сохатый, «который рогом сажень займет», и добрые собаки, что «сами зверя загонят и на полы разоймут, так что и стрелить не придется».

Голова шла кругом от этих рассказов. А дедушка вспоминал далекую старину. Он вставлял в разговоры бывальщины своего деда, а потом, забираясь все глубже, доходил до тех времен, когда охотники ели еще из ермаковских котлов.

Но дедовым преданиям можно было верить. Я сам видел у него в амбаре допотопную, самодельную кремневку с толстым, граненым стволом и крепко проржавевшее лезвие рогатины, за ненадобностью воткнутое в щель.

Расходились охотники поздно вечером. В избе еще долго стоял дух самосадки, а в голове бродили интересные рассказы.

* * *

Как и все дети, подражая своим отцам, стремясь во всем походить на них, мы, мальчишки, страстно мечтали стать настоящими охотниками. Сказывалось это и в играх. Луки из гибкого вереска, стрелы с жестяными наконечниками были у нас в ходу чаще, чем старенький мяч, который к тому же был дырявым.

Обвешавшись луками, как дикари каменного века, мы устраивали охоту на воображаемого зверя. Для этого на задворках, подальше от родительских глаз, где-нибудь на стене амбара или бани углем неумело рисовали медведя. Отойдя шагов на двадцать, натягивали луки и стреляли по нему. Тут же разыгрывалось первенство, кто лучше стреляет: просто нужно было попасть в медведя, и все.

— Готово, добыл! — кричал мой сверстник, тоже Колька, сын Ивана Максимовича.

— Ну уж, добыл... Попал в лапу... Ранил только! — возражали остальные, старательно целясь.

Но, как назло, стрелы шли мимо: они или недолетали, либо уходили далеко в сторону.

— Мазилы вы! — радовался Колька.

— А вот моя стрела высоко полетит! — хвастался я и, подняв лук вверх, выстреливал.

Стрела, забираясь ввысь, белея на солнце, казалась все меньше, потом, потеряв силу, дугой шла к земле и падала где-то в огороде, между рядов картошки.

— Мой лук шибче бьет! — И Колька, крепко натянув тетиву, пулял в воздух.

Пример заражал остальных, все принимались прошивать небо. Стреляли поодиночке, били залпом. Потом, ломая картофельную ботву, искали в ней стрелы.

— Я вам! — истошно кричала с крыльца Васса Дементьевна, увидев нас на огороде.— Вот я счас крапивой-то вас надеру! — Тряся полным телом, она ходко бежала ловить нас.— Картошку всю поистолкли, лешак вас задери!..— Схватившись на ходу за стебель крапивы и ожегши себе руку, она плачуще причитала: — Шары бы вы себе повыбили с такой игрой!

Мы разбегаемся кто куда. Я бегу что есть мочи, обдирая в кровь босые ноги о жесткую полынь, сердце мечется в груди, в глазах нет свету. Поднырнув под жерди остожья, из-за кучи старого, прелого сена, наблюдаю, что делается на огороде.

Поймав своего сына, Васса Дементьевна деловито дерет его за вихры. Под ее сильной рукой Колька орет как ошпаренный. Оттаскав его за волосья и собрав брошенные луки, она с треском ломает их, а обломки закидывает в крапиву.

Я вижу, как в ее руках гибнет мой лук, но это еще не все. Когда я прихожу домой, то отец, сурово сдвинув брови, манит меня к себе пальцем, спрашивает коротко:

— У тетки Вассы на огороде был?

— Был...— Под его строгим взглядом я стою с низко опущенной головой.

— Будешь сидеть дома, пока из луков стрелять не отучишься, марш на печь!

Возражать и оправдываться бесполезно. Я знаю своего отца. На этот раз чувствую — улицы мне долго не видать. Мне обидно и хочется плакать, но из упрямства я держусь, не реву и лезу на печь. На ней у меня тоже есть игрушки, в которые можно поиграть: юла со сломанной пружиной, книжка с картинками и старинные, царской чеканки, медяки с двуглавыми орлами.

* * *

На дворе тоскливо взлаивают на привязи собаки. Отец вторую неделю в тайге, тушит пожар. Собаки не могут понять, почему, уходя в лес, он оставил их дома: ведь они отправлялись в тайгу всегда вместе. Едят они мало и неохотно, то ли от жары, то ли тоскуют по своему хозяину.

Мы тоже соскучились по отцу и, как всегда, спрашиваем:

— Мама, а папка скоро вернется?

— Вернется, как пожар загасит. Ешьте! — И мама, сама озабоченная его долгим отсутствием, кормит нас хлебом и творогом.

— А когда он загасит?

— Да ешьте, горе вы мое! — И она, усадив на особый высокий стульчик Женьку, кормит его.

Женька держать ложку еще не умеет, и его, как птенчика, кормить нужно с рук. Поводя ушастой, с хохолком на темени головой, он сосредоточенно жует — недавно у него снизу прорезалось два зуба.

— Хлеб да соль! — приветствует маму Васса Дементьевна. Говорит она с улицы, заглядывая с завалинки в окошко: — Ораву кормишь?

На соседке новенькое ситцевое платье, по плечам узорчатый платок. Ожидая Ивана Максимовича, она принаряжается и подолгу сидит у окна.

— Не едут наши мужички... Я на своего уж и карты раскладывала, выпал ему казенный интерес и дорожка к дому трефовому. Как ты думаешь, скоро они к дому-то оборотят?

— Да где знать... Поди, пока пожар не затушат, все в тайге будут.

— Как же! Утушишь его... Смотри, как накадил!

И верно, на улице стоит сизое марево, солнце, кое-как пробиваясь сквозь плотные слои дыма, светит тускло, блекло. Горят кедрачи, пожар идет верховой, со страшной скоростью, самый опасный для тайги пожар.

— Была я у дедушки Ивана, бает*: «Покуль пал дождем не прибьет, все гореть будет».— И Васса Дементьевна, ловко кинув в рот кедровый орешек и раскусив его, выплевывает скорлупу.

— А дождь-то будет, нет ли?

— Дедушка сулил, что будет, ноги ломит у него.— Васса Дементьевна, поправив платок, добавляет: — Ты заходи, коль што надо будет! — и идет к себе.

В отсутствии мужчин женщины как-то незаметно объединяются. Оно и ясно — без мужей рассчитывать можно только на помощь соседки.

А над землей плотнеет горьковатый дым. Окутав сопки, он красит все в сизый цвет, обманчиво сглаживает края горизонта, застит* солнце. На улице жара, сушь, все приникло и затихло. Дни стоят тягучие, длиной с версту. По вечерам гаснут алые, с лиловыми бликами закаты. Спать мы укладываемся с открытыми окнами, дым становится гуще.

Вот прошел еще день, а отца все нет. Мама подсчитала, что продукты, взятые им в тайгу, должны уже кончиться, и неизвестно, чем там он держится.

* * *

Ночью нас будит страшный треск и грохот. В непроглядно-черной душной тьме, на миг разрывая ночь, блещут молнии. Молочно-синие пучки стрел, пробуравив небо, бьют о землю раскатистым громом. Кажется, что из далекой вышины на землю с грохотом летит огромная пустая бочка. По крыше редко тюкают капельки надвигающегося дождя. Отдаляясь, гроза забирает куда-то в сторону, а улицу с шумом и плеском заливает дождь. Полощет он сплошным ливнем. Скатываясь по желобу, с крыши непрерывным потоком журчит вода. Воздух становится свежим и холодным.

Мы забираемся под одеяло и засыпаем под этот полуночный дождь.

— Вставайте, ребята, папа приехал! — подымает нас утром мама.

Мы смотрим с печи. За столом сидит наш отец. Он уже поел и напился чаю, на коленях держит Женьку и, потряхивая его на коленях, припевает:

По гладенькой дорожке, по гладенькой дорожке,
По кочкам, по кочкам...
По ухабам, по ухабам...
В яму бух...

— Папка приехал, папка приехал! — Облепив отца, мы жмемся к нему.

— Ага! Старшие проснулись! — И он по очереди целует нас.

— Мишка! Почему ты голопузый?.. Марш одеваться! Маму без меня слушали?

— Папа, а от зайца гостинцы привез?

— Нет, не встречался с зайцем! — Отец смотрит на наши потускневшие лица, но вид у него таинственный: — Идите, гляньте за печь, кого я вам привез!

Мы с братом идем к запечью, оттирая друг друга, заглядываем туда. В узком запечье, где обычно держат маленьких телят, на сене, смешно разбросав ноги с черненькими, острыми копытцами, дремлет ушастый, голенастый, горбоносый звеpенок. Удивлению нашему нет конца.

— Пап, а это кто?

— Это, ребята, сохатенок!

— А он царапается, он кусучий?

— Нет. Он еще маленький, обижать его нельзя.

— Пап, а играть с ним можно?

Мы пытаемся открыть дверцу, лезем к сохатенку. Звереиок, встрепенувшись, подымается, покачиваясь на нескладных тонких ногах, жмется к стене.

— Ребятишки, не лезьте к нему, пусть он спит.

— Папа, а он будет у нас жить?

— Будет. Только не томашите* его, иначе заболеет и пропадет.

Насмотревшись на лосенка, мы гуськом направляемся к умывальнику — уже хочется есть.

— Здрасте! — Белея ситцевой рубахой навыпуск, в неизменных, подшитых кожей катанках, у порога стоит дед Иван.

— Иванова коня увидал, возле остожья ходит. Ну, знать, приехали, дай-ко попроведаю схожу! — И дедушка, присев на припечек, интересуется: — Загасили пал-то?

— Потушили, дождь помог.

— Я чай, много тайги погорело?

— Много. Попластал пал кедрачи! — Звонко хлопнув ладонями, зашибив залетевшего в избу комара, отец спрашивает: — Ну, а как ты?

— А чего мне... Живу. Ревматизм только мучит, зиму и лето в катанках, и сплю в их. А так ничего, все ладно.

— Чай пить не станешь ли?

— Ой, не буду — с утра им набузолился*.— Дедушка Иван, дробно постукивая посохом, интересуется: — А хозяйка твоя иде же?

— Корову на выпас искать пошла, молока подоить.

— А что, неужто недоену на выпас отправила?

— Да нет, доену. Постояльца вот с тайги привез, надобно парным молоком напоить.

— А чего же я его не вижу?

— За печкой он, с дороги отдыхает, иди взгляни,— улыбается отец. Его забавляет любопытный до дотошности дед.

Старик чувствует подвох, но, шаркая валенками, идет к запечью и, как тетерев вытянув шею, заглядывает туда.

— Вот это да! — искренне удивляется он.— Никак, сохатенок?

— Он и есть.

— Живьем, значит, поймал! Ну и ну!

И уже через час дед обстоятельно рассуждает:

— Зверь, он зверь и есть, как его ни поверни! Вот выкормишь его, выпоишь, а потом? — и убежденно добавляет: — Сохатый не конь, землю на нем не пахать! Куды его? На мясо только!



— Жалко будет на мясо, привыкнешь!

— А я што говорю? — И дед, подняв палец вверх, советует: — Отвези зверя в район и государству сдай, ведь есть же места, где всяких зверей скопом держат? И деньги дадут за сохатого-то... Смотри только не продешеви. Шкура и та денег стоит, а тут живой...

— Поживем, увидим, деда.

— Эдак... эдак...— Дед согласно кивает головой и любопытствует: — Я чай, в речке рыбы-то было всякой?

— Некогда было рыбачить, пожар тушили.

— А завязь есть на кедре, шишка нонче будет?

Старик сидит у нас еще долго, несколько раз подходит к запечку, смотрит на лосенка. Наконец согласившись попить чаю, ударяется в воспоминания, где и сколько тайги горело, потом рассказывает, как его дядю на берлоге задавил медведь, а его только помял, и, наконец распрощавшись, идет домой.

Мама через соску пытается напоить лосенка молоком. Тот не может понять, чего от него хотят, дичится и вырывается. А мама как капризному дитю все сует ему соску. Наконец почувствовав молоко, сохатенок, сопя и зажмурив глаза, смешно подрагивая крошечным хвостиком, сосет из бутылочки. Мы подступаем ближе, разглядываем его — лося мы видим впервые.

* * *

В избе жарко и душно — печка топится день и ночь, в ней клокочут варевом чугунки, пекутся калачи, пироги, и в блины масло льется рекой — к нам в гости приехал дедушка. Он живет от нас далеко, у нас бывает редко, приехал попроведать внучат и увидеть Женьку — только из писем дедушка знает, что у него появился еще один внук.

К приезду дедушки готовились все. Мама выбелила заново избу, на окошки навесила крахмальные, коробом стоящие занавески, к умывальнику — нарядные, с вышивкой, полотенца, настелила полосатые своедельные половики, горшки с цветами оклеила белой бумагой. В избе сразу же стало светло и красиво, как на праздник. Но дедушке цветами и половиками глаза не отведешь, он с ходу принялся осматривать усадьбу и хозяйство, все ли ладно. Относительно хозяйства все было ладно, и дедушка вплотную приступил к нам.

— Ну-ка, внучата, идите-ко сюда! — подозвал он нас к себе.— Поговорим... Играть-то любите?

— Любим, дедушка...

— Ага. А сказки, скороговорки, тоже любите? Ну, так вот, слушайте! Кто без ошибки скажет скороговорку, тому и пряник отдам,— обещает нам дедушка, показывая круглый, плоский, похожий на окатную гальку, пряник.— А скороговорка такая: «Ушел Прокоп, кипит укроп, пришел Прокоп, кипит укроп, как без Прокопа кипел укроп, так при Прокопе кипит укроп». Ну-ка, Миша, говори первый ты!

Мишка, немного выбражулистый, повадками больше похожий на девчонку, желая угодить дедушке, заводит скороговорку:

— Пришел Прокоп, кипит укроп, усол Коп-поп... Кар... Кроп...— Вконец запутавшись в скороговорке, Мишка замолкает.

— Что, язык заплелся? — интересуется дедушка.— Не надо торопиться, и скажешь! Ну-ка, Коля, говори теперь ты...

Выслушав Мишкину торопливую, сбивчивую тарабарщину, я решаю взять не умением, а соображением, и скороговорку говорю по-своему, немного растягивая слова, и припечатываю на них ударения.

— При-шел Про-коп, ки-пит ук-роп, у-шел Про-коп, ки-пит ук-роп... И таким вот манером пересказываю всю скороговорку до конца.

— Молодец! — елозит дедушка по моим вихрам мозолистой ладонью.— Нá пряник, заслужил!

Мишке обидно. Он с завистью смотрит, как пряник из дедушкиной руки перекочевывает в мою, и отворачивается.

— Миша, а ты чего нос воротишь? — спрашивает у него дедушка.— Нá и тебе пряник. Не горюй. Выучишь скороговорку и без запинки мне ее расскажешь. Верно?

Мишка кивает головой, закусывает пряник, за щеками у него катаются бугры, зубы с треском перетирают гостинец, с губ на пол сыплются крошки.

«Жадина...— думаю я, глядя на то, как он быстро и сноровисто жует.— Говорить, так языка нету, а жевать, так только подавай».

Дедушка у нас умный, занятный. С ним очень интересно, он много знает. Слово скажет — будто гвоздь в голову вобьет, клещами оттуда не вытащишь. И характер у него добрый, и нрав веселый. Он даже с родителями нашими обращается как с детьми, только взрослыми.

— Прокопий Иваныч, ребятишки, идите к столу, обедать! — зовет нас отец.

— Постой! Обед не пропадет. Отгадай вот загадку! «Летела стая гусей, а навстречу ей гусь. «Здравствуйте, сто гусей!» А гуси ему отвечают:

«Нас не сто гусей, нас столько, да еще столько, да четверть столько, да еще полстолько, да ты гусь, вот тогда нас будет сто гусей». Ну-ка, зять, сочти, сколько летело гусей?

Отец, склонив голову, наморщив лоб, шевелит губами, считает. Считает он долго, соображает, видимо, с трудом, что-то в уме отнимает, прибавляет, множит, топчется на месте, как конь.

— Не могу сосчитать, Прокопий Иваныч, не поддается... Сколько было гусей-то?

— Ишь ты, хитрый какой. «Сколько было»! Ты сам сочти,— улыбается дедушка.

— Да где вы там? — выходит на крыльцо мама.— Все уже остыло, идите в избу!

— Погоди. Отгадай и ты загадку, доченька... «Ехал охотник, вез капусту, волка и козу. И надо ему через реку попасть, а лодка одного седока берет. Подумал охотник: «А как же переправляться-то? Вот незадача... Возьму капусту, волк козу съест... Возьму с собой волка, коза капусту съест. Как быть?» А переправить волка, козу и капусту, если раскинуть умом, можно. Ну-ка, переправь!

— Я знаю, как надо! — восклицает отец.

— Знаешь, так молчи... Свое отгадывай. А она пусть свое.— И дедушка, одергивая подол рубахи, с победным видом смотрит на родителей.

Те долго бьются над разгадками. У отца не выходит со счетом, а мама никак не может упасти от волка козу, а от козы капусту.

— Пошлите есть,— предлагает дедушка,— а то, пока отгадаете, мы с внучатами с голоду пропадем!

За неделю мы многому от деда научились. Помимо загадок, скороговорок, дедушка и песням нас научил, и мы с братом во все горло поем:

Как схватил медведь корову за рога,
Я теперь тебе, подруга, не слуга!..

По вечерам, усевшись на бревешко под окном, дедушка разговаривает с дедом Иваном. Если смотреть из избы в окошко, то сверху видать лысины стариков, а потом их плечи, коленки и ноги. У нашего дедушки лысина круглая, как сковородка, волос по краям ее местами еще темный, с прожилками седины. А у деда Волкова лысина поуже, к макушке сходится лодочкой и покачивается вправо-влево, потому что голова у деда Ивана от старости трясется.

— Ну вот...— рассказывает нам дедушка о том, как он узнал, что

«скинули» царя.— Стоим мы на позициях, ни вперед, ни назад. Вша солдат ест. В окопах сыро, грязь. Германец тоже не шибко-то на нас лезет, и ему прискучило воевать... А я был на гуапвахте, десять суток мне объявили. Пилил я для кухни полковой чурки. Так вот, пилим мы, бежит солдатик с нашей роты, папахой машет, сам кричит:

«Кончай пилить, отпилились, айда на митинг, царя Николашку с престола скинули!..» Так я и не досидел своей гуапвахты до сих пор, несколько суток ее числится...

Старики еще долго рассказывают друг другу, с кем приходилось им воевать, где бывать, где в госпиталях валяться, потом постепенно переходят на революцию, с революции на гражданскую войну.

Дедушка Волков рассказывает, как он партизанил в отряде знаменитого Нестора Каландарашвили и дошел аж до самого Якутска.

Слушая их беседу, можно подумать, что старики в своей жизни только тем и занимались, что воевали то с германцами, то с белогвардейцами.

Но это не так. Дедушка у нас ветеринар и лечит животных. Мы сами это с Мишкой видели, когда гостили у него в деревне. Дома у дедушки есть белый халат, кожаный портфель с медицинским инструментом — шприцами, иглами, щипцами и скальпелями. Дедушка умеет все: сделать укол, залечить рану, дать животному лекарство.

Однажды мы видели, как он лечил больную овцу. Ее привезли на телеге. Овца лежала на сене, выгнув шею. Уши у нее, как завядшие листья, сникли, глаза ушли под лоб, а живот вздулся бугром. Дышала овечка с трудом, в глотке у нее стоял комок — овца подавилась репой. Если бы не дедушка, то овечке пришел бы конец.

— Ты уж спаси овцу-то, Прокопий Иванович! — просила со слезами хозяйка овцы.— Хорошая овца, мироноска, жалко, если пропадет!

— Смотреть за скотом надо!..— ворчал дедушка, сразу став строгим.— Кто же овец репой кормит? Кто же им репу дает?

— Ох, виновата, Прокопий Иваныч. Сама виновата,— сокрушалась женщина.

— Виноватых бьют... Ну-ка, держи ее крепче за ноги.— И дедушка, разинув овце рот, стал проталкивать ей в горло смазанный вазелином резиновый зонд, похожий на шланг от насоса.

Овца дергалась всем телом, пыталась вырваться, ей, видно, было очень больно, из глаз у нее текли слезы, она задыхалась.

— Крепче держи, не давай ей вставать! — командовал дедушка, проталкивая зонд.— Еще крепче!

Овца вдруг с хлюпом, как через воронку, втянув в себя воздух, принялась дышать.

— Ну, вроде и все...— облегченно вздохнул дедушка, сворачивая зонд.— Полей-ка мне на руки.

Пока он моет руки, овечка спрыгивает с телеги, падает на передние коленки, но потом, выправившись, бредет к забору, и ложится там в траву, в тень.

Через час, выслушав наставления дедушки, как нужно ходить за животными, чтобы они не объелись, не отравились и не подавились, женщина отъезжает. Следом за телегой на привязи трусит овца.

Дедушка дело свое знает и любит. И животных тоже. У него много книг о животных и их болезнях. Книги он держит на полке и вечерами, вздев на нос очки, читает их. Он на четыре деревни один ветеринар и часто отъезжает, когда его зовут к заболевшему скоту. Он никогда никому не отказывает, и случается, уезжает спешно, иногда даже ночью. Для поездок у него есть брезентовый, жесткий как жесть плащ-дождевик и дорожная заплечная сумка. Они висят всегда наготове в сенях.

Однажды дедушка вернулся очень расстроенный, сильно уставший. Полы его дождевика были захлестаны грязью, фуражка размокла и разъехалась. На пороге он стянул с ног заляпанные глиной сапоги, выбросил их в сени, и они, глухо брякнув, залетели там под лавку. И уже потом дедушка сообщил бабушке:

— Поздно приехал... Пала корова. Не смогла растелиться...

Наша бабушка, Наталья Степановна, тихая и кроткая старушка, баловавшая нас сушками и творожниками, подала ему сухие чистые носки — переобуться.

— Не печалься, Прокопий Иваныч, чё теперь сделаешь? Эта пала... Других на ноги подымешь...— И она еще долго уговаривала его как маленького, пока он не успокоился.

Как и всякий грамотей, дедушка пользовался в деревне уважением и даже почетом. К нему шли за советом, составить деловую бумагу или какое-нибудь прошение, а чаще всего прочитать или написать письмо. Дедушка вслух прочитывал письма, писал ответы, и поэтому был в курсе всех дел односельчан.

— Что, Матрена Константиновна, письмо тебе прочесть? — спрашивал дедушка пришедшую к нему женщину.

— Ты уж прочти, Прокопий Иванович! — протягивала та ему засаленное, с разлохмаченными краями письмо.

Письмо дедушка читал уже много раз и, пожалуй, может рассказать его на память. Письмо это особое, из армии, от сына.

— «А часть наша стоит недалеко от Будапешта. Будапешт столица большая, и стоит на реках Буды и Пешты...— громко, раздельно читает дедушка.— Служба идет у меня хорошо, командиры мной довольны. Здоровье тоже у меня хорошее, и служба нетрудная — можно служить. Но отпуска мне не будет, так что через полтора года только увидимся. Ты, мам, за меня не переживай, жди меня, твой сын, сержант Андрей».

— Спасибо тебе, Прокопий Иванович! — благодарила деда женщина, запрятывая письмо.— А вот почему побывать-то не отпускают, ведь пишет же... Неужто опять войны ждут?

— Неоткуда ждать. Немцу хвост накрутили, японцам набили холку — больше не полезут.

— Да ведь страна-то чужая, заграница.

— Ничего, везде добрые люди живут.

И дедушка советует Матрене Ивановне, когда вернется ее сын, выучить его на тракториста — и работа интересная, и заработок есть, и народ, трактористы, особый, дружный.

Если дедушка спрашивал меня, кем я хочу стать, когда вырасту, я без запинки отвечал:

— Охотником!

— Эх ты...— покряхтывал он.— Нашел занятие! — И загадочно добавлял: — Белки да рябки, пропали деньги... Соха тоже не плоха. Пашет по дерну, да пахаря кормит! Учись на агронома — самый мужской труд, хлеб растить. А в лесу день проводить да пень колотить и тупица сможет.

Дедушка у нас сторонник всякой учебы и считает, что без нее шагу невозможно ступить.

— Вот пойдете в школу,— наставлял он нас с братом,— будьте там внимательными, учитесь хорошенько, неучам и лодырям приходится в жизни трудно.

Мы обещали дедушке, что учиться станем хорошо.

Погостив, дедушка уехал к себе домой — его ждет бабушка, хозяйство, ветеринарская работа. А мы долго потом разучивали правильно, не картаво произносить скороговорки и пели песенку про то, как медведь схватил корову за рога.

* * *

Как бы отмечая середину лета, к Петрову дню Иван Максимович соорудил для ребятишек качели. В ряд с березой, что росла впритык к заплоту, вкопал толстый, высокий столб и сделал перекладину, на веревочные петли настелил доску,— получились качели. Для начала он опробовал качели сам, проверяя их на прочность — не оборвутся ли? Но качели его сдюжили, веревки не пообрывались, доска не проломилась, столб не обрушился.

— Качайтесь, ребята! — сказал Иван Максимович, полюбовавшись своей работой.

Первым на качели взобрался Колька со своим братишкой, потому что качели сделал его отец, и Колька почувствовал себя хозяином.

— Сперва мы,— сказал он,— а вы потом.

Встав с краев на доску, уцепившись за веревки руками, они принялись раскачиваться, сперва тихонько, а потом все сильнее и сильнее. Сбоку нам хорошо было видно, как доска, увеличивая размах, летала вправо-влево, вверх-вниз. Смотреть, как качаются соседские ребятишки, а мы стоим в стороне, нам обидно.

— Колька, Колька! — кричу я.— Эй... Смотри, чего у меня есть...— И показываю ему зубчатое колесико-шестеренку от будильника.

Если эту шестеренку осью поставить на ровное место, а затем пальцами крутнуть, то она долго вертится, потом начинает юлить по кругу и, наконец упав диском на ребро, далеко укатывается в сторону.

Колька эту мою игрушку знает и давно выманивает ее у меня, но я не отдаю. Сейчас скрепя сердце решаю отдать ее за так, лишь бы покачаться на качелях.

Скосив глаза в мою сторону, Колька замечает шестеренку, сбавляет у качелей ход, а потом останавливается.

— Колька, дай покачаюсь! — прошу его я, держа на виду колесико.

— А колесико отдашь? — спрашивает тот, слезая с качелей.

— А качаться, сколько захочу, пустишь?

— Пущу. Качайся...— соглашается Колька.

С сожалением сунув ему шестеренку, взобравшись на качели, я раскачиваюсь. Но одному неинтересно и неловко, конец доски, на котором я стою, огрузнув, опустился к земле, другой вздыбился в небо. И раскачка не получается — доска подо мной юлит, виляет вбок и ходит кое-как, и я зову качаться с собой соседскую Зинку.



Мне всегда жаль ее. Зинка среди ребячьей компании вроде как полу-человек, потому что девчонка, и отношение к ней самое что ни на есть пренебрежительное.

Вот и сейчас она стоит в сторонке и молча смотрит, как качаются другие.

— Зинка... Иди качаться! — кричу я.

Она неловко влазит на доску, становится на нее, уцепившись за веревки, неумело держится за них. Мы начинаем качаться.

Поскрипывая, качели приходят в движение. Сгибая ноги в коленках, пружиня ими, я добавляю качелям размаха. Меня заносит выше заплота, и на краткий миг мне видно, что делается за ним, на улице.

Видно, как, объедая с обочин траву, по дороге бредут с выпаса коровы, видно лес, речку, бани на угоре. На какой-то момент доска, взлетев вверх, зависает в воздухе, потом резко проваливается вниз, и кажется, что ты влепишься в землю и разобьешься о нее вдребезги. И потом я снова взлетаю вверх.

Сверху мне видно Зинкину голову, в волосах которой торчит обломок красненького гребешка, волосы у Зинки растрепались и похожи на помело, губы плотно сжаты, в глазах страх, пальцы судорожно вцепились в веревку, а костяшки их побелели. Когда доска с Зинкой взлетает вверх, то в спину Зинке бьет ветер, задирает подол юбчонки и открывает худые, тонкие, как прутья, Зинкины ноги с синяками на коленках и трусишки, обшитые голубенькой тесьмой. Зинка пытается на ходу придержать, оправить подол юбки, неловко висит на одной руке и едва не сваливается с качелей.

У меня у самого начинает кружиться голова, к горлу подкатывает тошнота, и я, перестав раскачивать доску, сбавляю ход. Только качели останавливаются, я ступаю на землю, и мне кажется, что земля под ногами тоже раскачивается вверх-вниз.

Но Зинке тяжелее моего. Когда она слезает с качелей, ее, будто пьяную, заносит вбок, потом вперед и откидывает назад, к забору. Она и остается там, уперевшись руками в тесины, мотает головой, ее тошнит. Зинке становится совсем худо, глаза у нее остекленели, ноги подламываются и дрожат.

— Доченька, чё с тобой? Лихотит тебя? — подбегает ее мать и, увидев позеленевшее Зинкино лицо, набрасывается на меня: — Ах ты жиган! Ах ты каторжник! Укачал девку-то! В усмерть укачал!.. Ууу, твердолобый! — грозит она мне.— Погоди! — И кричит через забор маме: — Ак-

синья! Аксинья! Отхлещи своего Кольку. Девку мою до омморока закачал!

Я иду от качелей домой, и мне очень обидно. Во-первых, Зинку я укачал случайно, не по умыслу, во-вторых, обидно за то, что соседка обозвала меня каторжником. Дело в том, что с отцовой стороны я действительно потомок настоящего каторжника, и предок мой, прадедушка, пришел в Сибирь в кандалах и осел потом тут на поселении. Прозвище его, переходя из поколения в поколение, досталось сперва моему деду, потом отцу и затем уже мне.

— Папка, а за что нас каторжными дразнят? — спрашивали мы у отца.

— За то, что прадедушка ваш был на каторге и его держали в кандалах.

— А за что его держали в кандалах?

— За то, что он есаулу голову шашкой смахнул.

— А зачем смахнул?

— Отстаньте вы от меня... Правильно и сделал, что смахнул... Так тому и надо!

— А за что? — допытывались мы.

— За девку. Вот за что. Ясно?

Но нам ничего не ясно. Не понятно, как это «за девку» можно отрубить кому-то голову. Да еще саблей.

— Вырастете, сами все поймете...— говорил нам отец.— Любил он ту девку. А есаул ихний хотел ее у него отбить.

Мы не знаем, что такое «отбить», но молчим, чувствуя в этом слове какой-то особый смысл.

Иногда отец говорил о нашем прадеде:

— Хороший был человек, хоть и попал на каторгу. За любовь попал... А не за аршин ситчика...

Но нам все равно неясно, за что на каторгу угодил наш прадед, по наследству наградивший нас своим прозвищем.

* * *

Мы обступили отца и присматриваемся, как он отбивает на железной бабке ко́сы-литовки. У нас их две — большая, с загребом, и поменьше, для мамы коса — самоковка. Лето уже давно перевалило на покос, а у нас еще не накошено ни клочка сена. Отец долго был на пожаре и с покосом припозднился, а сена на зиму накосить нужно много. Корова всю зиму жует

и жует его, метелит день-деньской, а к отелу еще и пойлом нужно поить ее, дважды в день, намяв туда картошек, всыпав отрубей,— тогда теленок рождается сильным, крепким, хорошего веса. Месяц-другой пройдет, и, глядишь, он уже вырос и вовсю бодается...

Бодали и меня строптивые телята. Когда бодает теленок, то страшного в этом ничего нету. Ну, толкнет тебя лбом, на котором и рогов-то еще не выросло, а торчат тупые шишки. Слетишь на землю, поревешь, и всего-то...

В таких случаях мама отпаивала меня холодной водой, пошептав на воду «от испуга», а остатки воды выплескивала теленку на морду с присказкой: «Бык бодучий, встретит тебя волк едучий, попробуй-ка воды, отведи моего парнишку от беды».

Теленок, мотнув башкой, на которую попала вода, слизывает ее с морды длинным языком, попутно залезает им себе в ноздри, прочищая их, и удаляется.

Конфликт на этом исчерпан. И снова можно играть с теленком рядом. Только не лезь к нему, не кидай в него репьями, не вертись возле морды, и он тебя не обидит.

Но однажды меня едва не кончил, прижав к заплоту, бык-пороз. Пороз был большущий, на толстых, с широкими копытами ногах, спереди у пороза свешивалась пастушьей сумкой подшейна, рога, как нарочно заточенные, сходились на острие. Дышал пороз, с шумом втягивая в себя воздух, ревел, нюхая землю и разгребая ее копытом. Ужас был, а не пороз! Нас он не знал. Пороза-производителя привели к корове, и они похаживали возле заплота. Корова объедала траву, а бык терся об нее мордой и помахивал нетерпеливо хвостом, нагоняя себе удали.

Вот тут-то и случился я, по незнанию вынырнув за ворота. И все бы ничего, не стал бы меня насмерть бодать бык, если бы не собака наша Жучка. Она выскочила за мной следом и, натасканная на сохатых и медведей и других диких зверей, кинулась с лаем на чужую скотину. Бык стоял, Жучка лаяла, я смотрел.

Но бык Жучки не забоялся, на то он и здоровенный бык, чтоб не бояться, а, угнув голову, метил поддеть собачонку на рога. Но Жучка тоже себе на уме. Быку она не давалась и, полаивая, все отступала и отступала к забору, а потом юркнула в дыру. Бык рассерженно поднял голову, увидел меня и пошел в мою сторону.

Мне бы убежать в ограду, захлопнуть за собой калитку, залететь в сени, укрыться в избе. Но я побежал от быка вокруг двора, вдоль заплота, чего делать было как раз нельзя,— бык погнался за мной. Догнал он

меня возле угла. На ходу я обернулся и, увидев налитые кровью бычьи глаза и острые рога, почуяв тяжелый сап, так истошно заорал, что воробьи, будто ветром сорванные листья, посыпались с березы. Бык прижал меня лбом к теснинам заплота, и больше я ничего не помню.

Родители, услышав лай Жучки, а затем мой дикий крик, выбежали на улицу. Быка отогнали, крепко нагвоздили ему колом по ребрам, а меня, впавшего в беспамятство, на руках внесли в избу.

Поправлялся я после этой мялки долго, и теперь, если волновался, то начинал заикаться.

* * *

Первым на покос уходил отец, а попозже, накормив нас, уходила косить сено и мама. Нам строго-настрого наказано из ограды не выходить, на речку не бегать, с огнем не баловаться. Кругом от стен отставлены лестницы и лесенки, чтобы, не дай бог, не вздумали на них залазить-взбираться, да не свалились бы с них.

Женьку велено не обижать, кормить молоком и творогом, когда он запросит. А просит есть Женька часто, он уже знает одно слово: «Дай»,— и если ты ему не дашь поесть, то ревет... Женьке вообще везет — он в семье самый маленький, обижать его нельзя, а если обидишь, то от взрослых немедленно получишь выволочку. И тогда картина меняется: вот плакал младший брат, а тут, наоборот, он уже успокоился, а ты хнычешь, получив от старших нахлобучку: «Не обижай меньшого!»

— Дай! — отчетливо кричит Женька, и мы поим его молоком из маленькой кружки, суем в руки кусок хлеба.

Женька сидит беспортошным голозадиком на некрашеном полу, вдоль половицы по щели из-под него бежит струйка.

Нам от мамы наказ: если Женька напустит под себя, тряпкой за ним подтереть, а самого перенести на сухое место.

Мы с Мишкой юзом тянем за ручонки братишку в угол, усаживаем там, а сами взапуски носимся по избе. Одергивать нас некому, поэтому делать можно все что хочешь.

Когда нам надоедает бегать, мы решаем пускать мыльные пузыри. Пока брат во дворе, возле стайки, выискивает соломинки, я сбиваю мыльную пену: положив в блюдце обмылок, накручиваю по нему отцовским помазком для бритья. И вот все готово, мы с братом дуем в соломинки, по избе тихо плавают радужные крупные пузыри. Одни пузыри лопаются

сразу же, другие долго держатся и плавно перекатываются в воздухе, поднимаясь к потолку.

Женька, набив хлебом рот, смотрит молча на пузыри, потом ползет за одним, стараясь схватить рукой, но пузырь лопается в воздухе: пуу... хх...

Женька удивленно мигает.

— Давай ему надувать пузыри! — предлагает Михаил, и мы, переместившись к братишке в угол, надуваем перед его носом пузыри.

Женька ловит их, ему смешно, и нам тоже весело. Разноцветные пузырики, радужно переливаясь, широко разливаются по избе, ударяются о стол и края лавок. Вдоволь надувшись в соломинки, мы с Мишкой принимаемся играть в прятки.

Первым вожу я. Уткнувшись лицом в угол, жду, пока брат спрячется, считаю вслух:

— Раз, квас. Два, дрова. Три, сопли утри,— а потом иду искать его.

Я знаю: спрятаться можно только под печкой, на печке или в запечье. Заглянув кругом, я не нахожу там Мишки, запрятался он крепко. Я заглядываю под кровать, под лавки — его и там нету. И вот, когда уже все обыскано, я вспоминаю, что мама оставила нам в печи горшочек пшенной, на молоке, каши, и решаю выманить Мишку кашей, зная, что он на еду жадный.

— Мишка,— зову я его,— давай кашу исти!

Но в избе тихо. Гукает в углу Женька, да жужжат и колотятся об оконное стекло мухи.

— Тогда я один кашу съем! — громко, чтобы услышал брат, кричу я и, сдвинув заслонку, лезу в печь за кашей.

Меня берет оторопь — из ее нутра появляется черная рожа с белыми волосами и светлыми глазами. Это Мишка. В печи душно, даже жарко, с брата в три ручья бежит пот, но он стойко терпит все эти неудобства.

— Нашел, нашел! — кричу я.— Давай теперь тыголи!

— А кашу исть? — спрашивает Мишка, вылезая из печи. С него сыплется-сеется зола, в волосах хлопья сажи, руки в черных пятнах и полосах, а шея, как печная заслонка — сплошь черная. Прямо настоящий черт, а не братец!

— А грязный-то ты! — замечаю я.

— Ниче.— И Мишка, подхватив тряпкой горшок с кашей, несет его к столу.

Я достаю полкаравая хлеба и ложки.

— Аа-а... аа! — раздается из угла истошный Женькин крик.

За игрой мы вовсе забыли про него, и он, хватая рукой мыльную пену из блюдца, затащил ее в рот, вдобавок мыло попало ему в глаза.

Мы подбегаем к братишке. Он орет, мотает головой, трет кулачонками глаза, пускает слюни и плачет, уже не затихая:

— Ааа... аа!

Братишку надо спасать.

— Умыть его надо! — находится Мишка.

Мы волоком тащим Женьку к умывальнику, но воды нам не достать — умывальник висит высоко. Женька орет так, что в груди у него даже начинает сипеть.

— Давай мыть его прямо из лохани! — советует Мишка, и мы, черпая из лохани мутные помои-ополоски, умываем ими брата.

От неожиданности или оттого что помои действительно помогают, Женька умолкает. Он сидит в луже грязной воды и смотрит одним глазом. К темени у него прилипла какая-то размокшая бумажка, а в слипшихся волосах чернеют чайные опивки.

— Утереть его надо! — И, сдернув с гвоздя полотенце, Мишка утирает брата.

Полотенце из белого враз становится серым, а по краям его четко отпечатываются Мишкины ладошки и пальцы, похожие на куриные лапки.

В избе слышится сначала осторожный шорох, а потом возня.

Я, выглянув из кути, обмираю. Пока мы умывали Женьку, в избу через открытую дверь пробралась собака, стащила со стола хлеб и жрет его под лавкой. Хорошо, что хоть горшок-то с кашей цел.

— Пшла! — кричу я собаке, и она, мелькнув черной тенью, вылетает на улицу. Но хлеб настырная собака утаскивает с собой, а на дворе нам ее уже не поймать, и мы остаемся без хлеба.

— Мишка, Жучка хлеб утащила! — сообщаю я брату.

— Ниче... И так поедим,— говорит он.— Ты только маме не говори.

Я соглашаюсь молчать. Кашу мы едим без хлеба, кормим ею заодно и Женьку, который уже не плачет и даже улыбается.

Но вот с едой покончено, и мы укладываемся спать на родительскую кровать с блестящими шариками на спинках, а в середку кладем Женьку. Женька сразу заснуть не может, его нужно убаюкивать, и мы поем колыбельную, которую поет ему мама:

Баю-баюшки-баю,
Живет Трифон на краю...

Женька засыпает, а следом и мы. Первым просыпается Женька и начинает хныкать — во сне он опрудился, и на покрывале расплылось большое мокрое пятно.

— Вставай! — бужу я Мишку.

Он встает, спросонья трет глаза. На подушке будто свиньи спали: там, где прижимался к ней Мишка щекой, грязной кляксой чернеет пятно.

— Мишка,— сообщаю я ему тайну,— а шарики-то у койки откручиваются...

— Да ну? — не верит мне Мишка.

— Откручиваются,— уверяю его я.— Я уже отворачивал. Только мамка увидела и меня с койки согнала.

— Давай отвернем? — предлагает брат.

— Нельзя. Ругать будут...

— А мы их потом назад привернем! — обещает брат.

Взобравшись на постель, топча ногами подушку, мы откручиваем блестящие красивые шары.

— Ими можно играть! — сообщает Мишка.

Мы мигом откручиваем шары, и кровать родителей сразу же меняет свой вид, и без шаров становится некрасивой, как комолая корова без рогов.

— Жара-то спáла,— замечает Мишка.— Можно и во двор идти играть. Бери Женьку, пошли.

Обхватив в беремя Женьку, я тащу его во двор, на крылечко. На дворе ясно, тепло и чистый воздух.

Из-под амбара, в дыру, вылезает Жучка и, потянувшись, направляется к нам.

— Хлеб таскаешь! — кричит ей брат и, прицелившись, точно попадает собаке в лоб самым мелким шариком.

Шарик стальной горошиной тюкнув по лбу Жучку, падает в траву. Я вдогон тоже швыряю в нее шарик, но он летит мимо и, стукнувшись о ворота, откатывается в сторону.

— Криворукий ты! — смеется брат.— А я, вот смотри, в колечко попаду! — И он бросает шар в кольцо ворот. Но тот, блеснув светлой точкой и ударившись в столб, улетает в крапиву.

У меня шаров больше нету, и я решаю идти посмотреть на сохатенка. Он уже немного подрос и живет с коровой в стайке, в отгородке для теленка. Лосенок услышал мои шаги и стоит, двигая длинными ушами.

Войдя к нему, я поглаживаю его. Он к нам привык и очень любит, когда его ласкают.

— Лося... Лося...— Поглаживаю я его, а он, закрыв большие, черные глаза, глубоко вздыхает и лижет меня в шею шершавым языком.

Со двора раздается Женькин крик. Я быстро выскакиваю из загона. Мишки в ограде нету. А Женька, оставшись без присмотра, свалился с крылечка и набил на лбу здоровенную, как рог, шишку.

Подхватив ревущего брата, я утаскиваю его в избу, усаживаю на пол. Женька ревет и ревет, а шишка на лбу надувается и розовеет.

— Я кому говорила, чтобы за ворота ни ногой! — слышится голос мамы.— Ты зачем на улицу выскочил? — спрашивает она Мишку.— А черный-то! Боже мой! Будто сроду не мылся... По трубам, что ли, лазал...

Войдя в избу, мама смотрит на нас с Женькой и, ахнув, в сердцах отталкивает меня и подхватывает Женьку на руки:

— Парнишка-то изувечился! Окалечился тут без меня! — И она еще долго-долго вслух жалуется и причитает.

А вечером нам достается от отца, за то что испортили кровать. Вдобавок ко всему, мы ложимся спать без молока — я забыл закрыть лосенка, и он, подобравшись к корове, высосал у нее молоко досуха.

* * *

Отошел покос, и по осени, как-то неожиданно, все скопом, мы пошли в школу. Школа была в четырех километрах от нас, в поселке геологов. Этому предшествовал целый ряд приготовлений. Отец привез учебник, арифметики, букварь, стопку тетрадей, красные палочки для счета, карандаши и два новехоньких портфеля, пахнущие дерматином, с блестящими замочками. В первый класс я шел вместе с братом, и учебники были одни на двоих. Все это добро — учебники, тетради, портфели — вызвали во мне ожидание чуда.

На столе неутомимо стучала машинка: мама заново обшивала нас к школе. Были сшиты две фуфайки, курточки. Вязались на зиму варежки и носки, а отец, приспособившись у окна, ближе к столу, подшивал кожей новенькие валенки.

Все круто менялось в моей жизни — я шел учиться.

И вот этот день наступил. Во всем новом — от куртки и до ботинок, с портфелями, мы отправились за знаниями.

За воротами нас ждал возница, суровый старик, из редкой, исчезнув-

шей теперь породы истопников, извозчиков и сторожей сельских школ в одном лице. Вместе с нами в школу отправились Колька, сестра его Зинаида.

— Расселись? — спросил хмурый возница.— Но-оо, пошла! — Погрозив вислобрюхой каурой лошаденке кнутом, дернув вожжами, тронул с места.

За нами скорыми шагами шла мама.

— Постойте, погодите!

— Тпруу! — Натянув поводья, старик остановил лошадку.

— Ребята, слушайте учителя, учитесь там хорошо! Не шалите, ладно? — И мама, перецеловав нас, всплакнула.

Возчик счел нужным сказать ей от себя:

— Не сомневайтесь... Что касаемо ваших ребят, то возить их буду исправно, в сохранности, у меня не зашалят! — и, стегнув лошаденку, отчего она погнала рысью, повез нас в школу.

Все отдалялось — избы, амбары деревеньки казались все меньше, а потом и вовсе потерялись за поворотом.

— Дядюшка, а в школе хорошо?

— Я вам не дядюшка, а зовусь Мирон Павлович. А насчет того, хорошо или плохо, скажу так: дураку кругом плохо, а умному везде хорошо...

Дорога шла вдоль речки, лесом. С телеги было видно, как по воде золотыми огоньками кружил палый осенний лист. Лошаденка, взяв разбег, ходко везла нас вперед. Подъехали к поселку. Магазин, маленький клуб, почта, дизельная электростанция, ряд домов — все это казалось мне городом. По крайней мере, я таким себе его представлял, когда кто-нибудь рассказывал о городе.

А школа, к моему удивлению, оказалась обычным домом. Только двери были пошире, на две створки, да окна намного светлее, с форточками. Класс в ней был один — общий.

Всего в школе вместе с нами насчитывалось четырнадцать учеников. Занимались все разом, с первого и по четвертый класс. Располагались мы так: на первом ряду первоклассники, за ними второй и третий классы, а на четвертом были четвероклассники. Но во всем этом я разобрался потом. Учительница Галина Николаевна, рассадив нас за парты, провела перекличку, объяснила, как нужно вставать и выходить из-за парты, отвечая учителю, как держать руку для ответа на вопрос. В очках, в коричневом с белым воротником платье и указкой в руках, учительница всем нам пришлась по душе.

Начался урок. Пока четвертый класс писал, мы повторяли хором буквы: «М... А... Мааа...» Наготове был третий класс. Всего из двух учеников



второй решал задачу по арифметике. Я до сих пор удивляюсь, как могла учительница заниматься сразу со всеми? Но это было так.

На первой же перемене Витька Трофимов, рыжий, вихрастый, высокий четвероклассник, сын промысловика-медвежатника налепил нам трескучих щелчков, и мы послушно стали его рабами. Был Витька сильным, ловким и хулиганистым. Сопротивляться ему было бесполезно, жаловаться не позволяла гордость, да и не росли мы ябедниками. Наши отцы были охотниками, поэтому в какой-то мере это покрывало его озорство и сближало нас. Щелчки он ставил больно, умеючи. После трескучего шелбана на лбу мгновенно вскакивала розовая болючая шишка.

У Витьки многому можно было поучиться. На спор он мог отжаться от пола сколько угодно, бессчетное число раз присесть, высоко подпрыгнув, коснуться кончиками пальцев верха стены, да и мало ли чего он не умел? А позже, притащив в школу рогатку, с первого раза сбил с забора воробья, чем окончательно нас покорил.

После занятий все тот же возчик, усадив нас в телегу, повез домой.

— Сидите тихо! — предупредил он.— Иначе ссажу, пойдете пешком! — И, зажав вожжи в коленях, набивая табаком коротенькую, самодельную трубку, философствовал: — Вот, хошь не хошь, а вези вас... Потому как обязан! Теперь вы ученики. Нонче што... Хошь не хошь, а учись, способный ты или туп, должен грамотным быть... Буду возить вас всю зиму, сейчас на телеге, потом в санях. Есть стремление али нет его — пожалуйте, лошадь подана.— От извозчика попахивало винцом, он где-то «клюнул».

Лошадка, помахивая головой, неторопливой трусцой бежала вперед, телега, постукивая колесами на рытвинах, катила нас к дому, первый день занятий был окончен, мы стали учениками.

Вроде ничего особого и не произошло, просто пришло время, и мы стали школьниками, но все-таки что-то изменилось. Нужно было ездить в школу, готовить уроки, держать ответ за двойки.

— И когда же я избавлюсь от тебя, ирода! — Мама концом деревянной лопаты, как штыком, тычет в ушастого, серого филина.

Филин сидит на краю печи, выше чела, и, вертя круглой головой, лупает слепыми при свете глазами. Филина, еще птенцом, нашел у дороги и принес в дом я.

— Господи, и ты в отца пошел! — всплеснула руками мама, увидав в

моей кепке птенца.— Тот всякую зверину в дом несет, и ты туда же! Ну что я с ним буду делать?

— Пусть остается! — решил отец, держа его на ладони.— Вырастет, мышей ловить будет, мышами ведь они живут...

Птенец, жадно раскрыв клюв, часто дышит, сквозь редкий пух у него видно рябую, в пупырышках кожу.

Поместили птенца в старое решето, настелив туда для тепла и мягкости шерсти. Пощипывая клювом кончики пальцев, он жадно ел с рук, из решета не вылезал, сидел в нем как в гнезде, и незаметно вымахал в крупного филина.

Теперь он ведет себя не так спокойно. Дважды падал с печи, пробуя научиться летать, зашибся и по ночам неслышно перепархивает по избе, усаживаясь на подоконники, спинку родительской кровати или на шесток. На мышей он охотится беззвучно, слышен только легкий шорох крыльев и тонюсенький мышиный писк.

Мама филина не любит. Свою добычу он расклевывает не иначе как на шестке, рядом с посудой. А как-то поздней лунной ночью филин принялся жутко хохотать и щелкать клювом, переполошил всех нас, насмерть перепугал младшего брата.

— Девайте его куда хотите! Хоть в лес с ним идите жить, а ребенка ему пугать не дам! — заявила мама, укачивая ревущего брата.

— Да он к лесу необыкший, пропадет там,— робко возражал отец.— Сделаю-ко я ему клетку!

И смастерил. Но филин каким-то неведомым образом выбрался из нее и сидит возле горшков, пощелкивая клювом. Меня он знает, я ухаживаю за ним и считаю своим. Подобравшись к нему сзади и накинув на него тряпку, елозя коленями по печи, я утаскиваю птицу в клетку.

— Уроки бы учил, чем с негодью этой заниматься, садись за уроки,— отчитывает меня мама.— Вот погоди, воротится отец, он тебе пропишет!

Отец уже месяц в тайге, бьет в кедрачах орехи. На дворе осень, начало октября. Устилая листом мох, под заморозками раздеваются березы. Уже давно пролетели утки, а на днях, вечером, полоша закатное небо криками, в теплые края протянулась запоздалая стая гусей.

— Скоро быть снегу. Слышите, гогочут? — заметила мама.

По утрам землю охватывает легкий морозец, инеем пятнает крыши домов, затягивает лужи тонким, хрупким ледком.

— Как там наш отец, поди, мерзнет? — И мама, повязав теплый шерстяной платок, идет доить корову.

Мы учимся. Школа занимает добрую часть дня. Я до мелочей изучил дорогу и знаю на ней все колдобины и повороты. Даже лошадь Мирона Павловича, кажется, помнит всех нас в лицо. Она смирно стоит, пока мы рассядемся на телеге, и потом, сама, без понукания, трогает с места.

Ездить в школу — сплошное удовольствие. Едешь возле речки. Огибая мыс, дорога прижимается к зарослям ельника с редкими в них кедрами, и иногда прямо с дороги можно поднять сизую, в капельках тончайшей смолы шишку с орехами.

И еще я быстро, мигом научился читать. Почему, не пойму. Писал плохо, с ошибками, а вот читать научился хорошо, без запинок, с выражением.

В поощрение моих успехов Галина Николаевна принесла мне две книжки — сказки Толстого и стихи.

— Диво, да и только! — заметил дедушка Волков, слушая мое чтение.— Не успел опериться, а грамоту уже выучил! Ты, Коля, учись ладом, прок, вижу, из тебя выйдет! — Одобрительно потрепал он меня по плечу.— Я вот сроду неграмотный, неучен ей и читать не умею.

— Да хоть худо, да читать можешь? — спросила мама.

— Нет. Счет знаю, а читать-писать не обучен, раньше школ у нас не было, и остался я темным.

— А потом можно ведь было научиться?

— А мне куда учиться? В гроб с собой грамоту не положишь, доживу и так! Это им сейчас надо учиться.

Несмотря на видимые успехи, имелись в моей учебе и изъяны. Виноват в них был Трофимов Витька. Почуяв во мне переимчивого парнишку, он полностью завладел моей душой. На переменах мы вытворяли с ним такое, что Галина Николаевна только руками разводила и укоризненно качала головой, глядя на нас. Терпение ее иссякало, и она даже покрикивала на нас, призывая к порядку. Спасу от Витьки не было никому — кого-нибудь да обидит. И главное, делал-то он все не со зла, а просто из озорства.

Один раз по его совету: «Буквы блестящими будут»,— я насыпал всему классу в чернильницы сахару. Растворившись в чернилах, сахар превратил их в липкую, тягучую жижу, которой невозможно было писать. Урок был сорван. Все прополаскивали свои чернильницы-непроливайки, а Витька как ни в чем не бывало ножичком острил карандаш.

Потом как-то огарком свечи натер классную доску. Галина Николаевна,

приготовившись на ней писать, не могла провести даже и черточки, мел скользил по доске, оставляя вместо букв нелепые царапины.

Галина Николаевна, отложив мел, села к столу и дрожащими губами в настороженной тишине сказала:

— Ребята, пусть тот, кто натер доску парафином, отмоет ее горячей водой! Если он этого не сделает, занятий завтра не будет. Вы все слышали?

Класс молчал. Все, от первоклашек и до старших, почувствовали себя неловко. Я помню, как краснело мое лицо и розовели от стыда лица других, ведь видел же я и остальные, как Витька, высунув от усердия язык, возил огарком по доске, и никто не посмел ему сказать, чтобы он перестал губить доску, все боялись его затрещин.

И действительно, к концу уроков Галина Николаевна принесла откуда-то кастрюлю с горячей водой и, поставив ее на учительский стол, молча, не попрощавшись, вышла из класса. Прибитые случившимся, мы, сгрудившись у двери, смотрели на кастрюлю, она как магнитом тянула к себе. Начни учительница дознаваться, кто испортил доску, повысь она голос — неизвестно, как бы оно пошло дальше, но ее спокойное: «...занятий завтра не будет» — озадачило нас всех.

На Витьку давно таили обиды, многим он крепко насолил. Первыми не выдержали девчонки.

— Мой доску! Отмывай! — закричали они, подступая к нему.— Ты хулиган, ты Галину Николаевну обидел!

— Кышь, сороки! — огрызнулся Витька.

— Мой, тебе говорят!

Мы не вмешивались, мы просто со стороны наблюдали, как всесильного Витьку, оттерев к доске, не выпускали из класса.

— Не вымоешь, к отцу пойдем и все ему расскажем! Так и знай!

Упоминание об отце как током ударило Витьку. Его саженный, здоровый отец одним только видом вызывал невольное уважение. Не знаю, драл ли он за проказы Витьку, а если драл, то не завидую я ему.

Рука у его отца была тяжелой, это знали все, сила отца была предметом Витькиной гордости, он сам неоднократно хвастал:

— Папка мой силач, кого хошь заборет.

Это была правда. Отец Витьки ходил в одиночку на медведя, рассказывали, как он, сцепившись в схватке с раненым зверем (а опасен раненый медведь), стесал тому башку топором.

— Ладно, ототру доску,— сдался Витька.

Назавтра Галина Николаевна, полистав журнал, сказала:

— Четвероклассники, слушайте задачу: «В одном ведре воды десять литров, в одном литре воды помещается четыре стакана. Сколько стаканов воды останется в ведре, если из него отчерпать три раза по пол-литра?» — Трофимов, иди к доске, пиши!

Витька, ссутулясь, меряя глазами половицы, шел к доске, будто слепой, на ощупку. Писать задачу он не стал, а стоял, глядя в пол, плотно сжав побелевшие губы.

— Витя, ты что? Болен? Может, с уроков тебя отпустить?

— Нет, не надо...

Витька долго потом ходил хмурым, держался ото всех в стороне и уже не озорничал на переменах. Он сам для себя нашел игру. Играл он в зоску. Если посмотреть со стороны, то играющий в зоску чем-то похож на маятник. Вверх-вниз покачивается голова, правая нога, сгибаясь в стопе, машет в воздухе к полу — от пола. Сразу и не поймешь, что происходит. А человек просто играет в зоску.

Зоска — это кусочек медвежьей шкуры величиной со спичечный коробок, к тыльной стороне которой пришита пластина свинца. Стоит подкинуть зоску вверх, она, плавно взлетев, под тяжестью свинца планирует вниз. Чем больше раз подбросишь зоску не промахнувшись и не уронив на пол, тем интереснее. Игра очень увлекательная.

Смастерить зоску — целое искусство. Для этого нужна шкура хорошего крупного зверя. Волос на ней должен быть густым, ядреным, упругим. Точный груз тоже важен. Надо иметь особое чутье, чтобы угадать, сколько свинца требуется. Тогда зоска планирует, как ты хочешь, поддавать ею можно, пока не устанет нога, до бесконечности.

Этим и занимался Витька. Как только объявляли перемену, он, первым выйдя из класса, доставал свою снасть и поддавал ее ногой. С независимым видом он играл и играл сам с собой. Играл ловко, с азартом, со стороны было любо посмотреть на него. Нас он просто не замечал.

Я как-то сунулся к нему:

— Витька, дай хоть раз подброшу зоску!

— Чего, лоб зачесался? — Витька, перехватив зоску, зажал ее в кулак.

— Дай сыграю! — приставал я к нему.

— Сопли подбери, а то висят! — И он, вертнув по моим вихрам пальцами, отчего защемило и больно зажгло кожу, принялся наяривать по зоске ногой.

Это была кровная обида. Тот Витька, с которым мы дергали на переменах за косы девчонок, Витька, который позволял мне стрелять из его



рогатки, который учил меня, как нужно наводить ее на цель, стал страшным жилой. И я, рассердившись, решил сделать зоску и научиться играть не хуже его. Твердости мне хватало.

Дома на сундуке была расстелена медвежья шкура. И я стал присматриваться к ней. Медвежина была не очень чтобы большой, волос на ней был не густым — перезимок, но соорудить зоску вполне можно. Шкура была снята с медведя умеючи, с головой и с лапами. Но как отрезать от шкуры кусок? Спросить? Не позволят. Отрезать без спросу? Поймают и надерут. Получался круг, из которого не было выхода. А иметь зоску очень хотелось. И я решился.

Внимательно осмотрев шкуру, я понял, откуда можно отрезать — от лапы. Волос там жесткий, что надо. Для дела потребуется небольшой кусочек. Я вырежу его так, чтобы это было совсем незаметно. Свинец у меня есть.

Готовился я к этой операции долго, тщательно. Из сундука взял и припрятал под шубой на печи острые, старинные ножницы. А дома постоянно кто-нибудь да был и мешал осуществлению моего замысла. Проходили дни, а зоски у меня все еще не было. Я мучился в душе и колебался, хотел совсем оставить свою затею, но помог случай.

На ноябрьские праздники пополнить запасы харчишек пришли из тайги охотники, как всегда, негаданно. Как у нас водилось, решили вечер отгулять вскладчину, всей деревней.

Первый день праздника встречали у нас.

Год для промысла был удачным — тайга плохо уродила ореха, голодная белка лезла в ловушку на немудрую приманку — сушеный гриб. Белки охотники добыли много, расстреляли все патроны и пришли в жилье, а тут угадали к празднику — ну и отдыхали.

Моя теща невежливая.
На медведе-то не езживала,
На козе-то не боранивала,
Решетом воды не нашивала,—

выпевала, притопывая, Васса Дементьевна. Ради праздника на ней платье в зеленых цветочках и желтый, узорчатый, с кистями полушалок. Даже белесые брови черным карандашиком подвела.

Она слегка под хмельком:

На охоту мил ходил
Лису рыжую убил,

А с моей фигурою
Надо чернобурую...

Иван Максимович в черном костюме выглядит нелепо — в обыденности он в суконных грубых штанах и затертой на животе меховушке-безрукавке. Закинув ногу на ногу в валенке с кокетливо подогнутым голенищем, шпарит, аж вот-вот струны лопнут, на балалайке. Половицы под Вассой Дементьевной ходят и жалобно пищат.

Мы, ребятишки, сидим на печи. Сверху нам хорошо видно, как веселятся взрослые.

— Стрелил я в того сохатого и вижу — попал! — с жаром рассказывает отцу дедушка Волков.

На нем ради праздничного застолья старинного покроя рубаха-косоворотка, с глухо застегнутым на все пуговки воротником. Шея у деда от старости усохла, и торчит из ворота, как из голенища. Дедушка отводит в разговорах душу от одиночества.

— Да поешь ты! — уговаривает его отец. — Выпей и поешь!

— Нет уж! Я сперва доскажу, а поем опосля!

— Дедушка, может, пельменей наложить тебе? — спрашивает мама. Она почти не присаживается к столу — ей нужно угостить соседей, да так, чтобы не было потом стыдно. Но старик упрямо отказывается есть и пить, пока не доскажет, что же дальше все-таки было с сохатым.

Иван Максимович давно уже отложил балалайку и поет с супругой какую-то старинную песню, а дед все никак не может успокоиться. Он может говорить, особенно о собаках, до бесконечности и повествует о знаменитом кобеле, «с которым столь медведей добыл, что иному охотнику впору».

— Ой да не лебеди, да не серы у-утки...— жалобно выводят Иван Максимович с Вассой Дементьевной.

Поют они красиво, проголосно — заслушаешься. Песню эту они любят и берегут под конец.

Когда расходятся гости, мы не знаем. Под эту песню, под разговор дедушки Ивана засыпаем на печи. Назавтра Васса Дементьевна позвала родителей «отгащивать», а мы, оставшись одни, без взрослых, предоставлены были сами себе.

С обеда пошли играть в ограду. Тут-то и зародилась у меня мысль, пока матери с отцом нету дома, отрезать клочок от шкуры. Вернувшись в избу, я с ножницами подступил к ней. Но она оказалась такой жесткой и

толстой, что отстричь кусочек было невозможно. Напрасно возился я над ней с ножницами, шкура была как железо.

Тогда, достав отцовский охотничий нож с тяжелой роговой рукоятью, оттянув лапу, я резанул по ней и перестарался. Нож был что бритва, и лапа целиком оказалась в моих руках, отпала, как и не было ее у медведя. Дело было сделано, назад лапу уже не пришьешь. Положив ножик на место, я спрятал лапу, шкуру же повернул так, что утраты не было видно и со стороны совсем даже незаметно.

С этого часа жизнь моя пошла в двух измерениях. С одной стороны, я стал пакостником, испортившим медвежину, с другой — обладателем зоски и мог теперь потягаться с Витькой: кто кого обыграет и загонит в мешок.

* * *

Смастерил зоску я позже, когда отец снова был в тайге, и в амбаре испробовал свое изобретение. Зоска вышла хоть куда — так мне казалось. В школу я ехал с внутренним волнением. Как все будет? Как Витька отнесется к тому, что у меня есть своя, настоящая зоска?

Все оказалось проще. Витька посмотрел, как я кидаю зоску, и предложил:

— Хошь, на интерес станем играть? Кто больше поддаст зоску, тот и выиграет?

Я внутренне ждал этого и охотно согласился. Мы стали играть. Но где мне было тягаться с ним? Играл он мастерски, перехватывая зоску, снова и снова с ходу подбрасывая ее.

— Сорок, сорок один... сорок два! — считал он. — Ммм... Эх ты, слабак! Тебе в куклы играть! — небрежно заметил Витька, когда я, выдохнувшись, уронил свою зоску.— Да и зоска-то у тебя так себе, простецкая, срам ее в руках держать! — говорил он, подняв и вертя ее в руках.— Сам делал?

— Сам.

— Оно и видать, что из собачьего хвоста.

— Из медвежины! — горячо возразил я.

— Знаю, из какой медвежины, она на цепи у вас в ограде лаяла!

Собравшиеся вокруг нас мальчишки покатывались со смеху. Даже друг мой Колька, скорчив рожу, выпустил из себя:

— Гав-гав!

Запихнув зоску в карман, я пошел в класс — сражение было проиграно.

— Слушай, Витька! — на следующей перемене спросил я. — Давай еще раз сыграем?

— Отчаливай, приехали! — отвернулся он от меня, подкидывая на ладони свою замечательную снасть.

— Ну хоть на обед, идет?

В школу мы брали с собой обеды. У каждого имелся из клеенки мешочек на шнуре. Мама, собирая нас в школу, клала туда чего-нибудь перекусить на перемене.

Предложение заинтересовало Витьку. Окинув меня подозрительным взглядом, он спросил:

— А не врешь?

— Вот еще! — обиделся я.

— А что у тебя есть пожевать?

— Пироги с картошкой.

— Покажь.

Я развязал кулек и, достав два пирога, один для наглядности разломил.

— Тогда давай, начали! — И Витька, подбросив зоску, перехватил ее ногой.

Играли мы с азартом, увлеченно, соревнуясь. Я проиграл. На сороковом броске зоска свалилась на пол, нога моя занемела.

— Гони пироги, проиграл! — И Витька быстро расправился с ними. Жевал он быстро, пироги глотал с аппетитом. Затем, похлопав меня по спине, поделился мнением:

— А ты ничего... Теперь всегда так будем играть, идет?

С этого дня я оставался голодным — все мои обеды доставались животу Витьки Трофимова. Мне даже казалось, что от них он немного стал поправляться, толстеть. Боже мой, сколько пирогов, кусков с маслом, шанег с творогом погреб он в своем вместительном желудке. Им просто нет числа.

Я просил маму давать мне с собой больше, и она делала это, радуясь, что я хорошо ем. Трофимовский живот был хуже прорвы, в нем мгновенно исчезало все, что я приносил. Я и учиться стал хуже — голова была забита только этой игрой, из которой во что бы то ни стало я хотел выйти победителем. Но Витька был непревзойденным чемпионом зоски. Чем бы все это кончилось, если бы не учительница?

Она не запрещала нам гонять до седьмого пота зоски, но, видимо, до

нее дошли слухи, что я остаюсь голодным, и она вмешалась в это дело. Но вмешалась, как только она умела — тоже мастерски.

— Играете, ребята? — спросила Галина Николаевна, поймав нас за этим занятием.

— Играем...— ответили мы.

— А вот знаете, есть такие артисты в цирке, называются жонглеры? Так вот. Они перекидывают друг другу разные вещи: зонтики, шляпы, мячи, кольца и даже тарелки. Знаете, как это интересно?

Мы не знали. Просто мы никогда не видали цирка, а только слышали о нем. Я и кино-то смотрел всего несколько раз, и что в нем казалось забавным и интересным, так это Чарли Чаплин, клоун.

— Это как Чарли Чаплин? — спросил я учительницу.

— Конечно, именно как он! — И она, улыбнувшись, посоветовала нам с Витькой: — Если вы станете перекидывать друг другу эти ваши штуки,— она показала на зоски рукой,— то игра станет куда интереснее! Заодно выучитесь жонглировать. А сейчас пора на урок, идите в класс!

На первой же перемене мы попытались по ее совету перекидываться зосками — это получилось несколько раз, а в основном зоски не хотели нас слушаться и падали на пол.

— Стой, раззява! — останавливал меня Витька. — Кто же так подает? Это тебе не лапта, давай снова.

И мы принимались выписывать ногами сложные кренделя, но особых успехов не было, и дело подвигалось туго.

— Витька, может, хватит? — уговаривал я его.

— Ты чего, сдрейфил? Слабо стало? Нет, давай перебросимся...

И мы снова молотили ногами, месили ими до усталости, до одурения.

Возможно, мы бы и бросили свое занятие, но продолжать эту игру нам снова помогла Галина Николаевна. Попросив нас задержаться после занятий, она из сумки, в которой носила наши тетради, достала три гуттаперчевых мяча и сказала:

— А теперь внимательно наблюдайте, ребята.— И ловко и быстро стала ими жонглировать.

Мы застыли, открыв рты, как громом убитые. Учитель — и вдруг такое!

— Так вот, ребята! Хочу я вас научить, чтобы выступили вы на новогоднем утреннике! — открылась она нам.— Я сразу же поняла, что из вас могут выйти жонглеры и мы с вами сможем приготовить интересный номер. Хотите научиться жонглировать?

Мы, конечно, хотели. Особенно Витька, я сразу это почувствовал.

Школа готовилась к Новому году: девчонки разучивали песни, готовилась сказка про волка и овцу и еще кто-то должен был читать стихи. С зосок мы перешли на мячи и на переменах пытались перекидываться ими. Но толку было мало — мешал мой рост. Когда Витька подавал мне второй мяч, то третий, который был уже в воздухе, я не успевал перехватывать, и он падал на пол.

— Смотри, как нужно! — показывала мне в двадцатый раз Галина Николаевна: — Виктор, лови!

И она жонглировала с ним, интересно, красиво, ловко.

Витька с ходу обучился хитрой механике жонглирования, да и роста он был высокого. Он перехватывал мячики неуловимо-ладно, перебрасывая их назад.

— Ну, попробуй еще! — говорила мне учительница.— Правая рука ловит мяч, левая посылает второй, правая рука посылает следующий и ловит первый, понял?

Я понимал все. Но, путаясь, никак не мог овладеть техникой переброски.

— Да... Слабовата реакция у тебя, заторможенность...— говорила мне Галина Николаевна.— Ну ка, попытайтесь сработаться. Начали!

И мы снова и снова жонглировали.

— Слабак! — ворчал Витька, когда я, пропустив мяч, ронял его на пол.— Гляди! — И он, забрав мячи, подкидывал их вверх.

Перегоняя друг друга, они ходили колесом, кругом и снова оказывались в его руках.

— Понял, как надо? — И Витька самодовольно тряс головой: — Сам научился...

— Не получается у вас парного номера. Может, каждый будет выступать отдельно? — спросила как-то Галина Николаевна, больше обращаясь к Витьке.— Как, согласен или нет выступать один?

От его ответа зависело многое. От худого предчувствия, что Витька от меня откажется, у меня защемило внутри, но он, подумав, ответил:

— Да нет уж... Мы только вдвоем!

У меня сразу же отлегло от сердца. Витька не отрекся от меня, значит, мы будем продолжать разучивать номер.

И мы его разучивали. До сих пор удивляюсь, как я не отупел и не сошел с ума от постоянных этих перебросок. Труд был одуряющий. Но желание не отставать от Витьки заставляло меня снова и снова жонгли-

ровать. Я и дома этому учился: скатал из тряпок три мячика и бросал их, перехватывал и даже надоел этим занятием маме.

— В артисты собираешься? — спрашивала она меня, увидев, что я вновь достаю свои самодельные мячики.— А уроки кто учить будет?

— Я уже учил.

— Учил! А по арифметике опять принес с минусом тройку, что это?

— Я на Новый год номер разучиваю...— оправдывался я.

Но мама никак не хотела понять, что мои мячи не забава. Для нее нужны были пятерки и четверки в тетрадях, а не мячи.

— Вот погоди, отец-то куделю тебе расчешет, если двоечником станешь! — обещала она.

Что мне оставалось делать? Забросить жонглировать или все же обучиться? И я решил выучиться номеру. И дело постепенно сдвинулось с места: наконец-то, хоть с трудом, у меня начало получаться.

— Выходит! — радовался Витька.— Сегодня ты на двадцатом мяче обронил. А ну еще! — И мы продолжали тренироваться.

— Ребята, еще немного старания, и вы сможете выступать! — поощряла нас Галина Николаевна.

Мы старались изо всех сил.

* * *

Время шло. На дворе стояла зима. Она выкрасила сопки и лес в белый цвет, в зарослях ольховника кружились петли заячьих троп. Ездили в школу мы теперь в санях-кошеве.

Мирон Павлович, в тяжелой собачьей рыжей дохе и лисьей пушистой шапке, в рукавицах-голичках с красными выпушками, привязал к дуге колокольчик, и теперь, чтобы, ожидая его, не торчать на улице, мы по утрам прислушивались: звенит ли колоколец? Если звенит, смело выходи за ворота, возчик ждет уже на месте.

Мирон Павлович привык к нам и был в курсе всех наших дел. Похаживая вокруг коня, оправляя упряжь, интересовался:

— Ну что, ребята, отцы-то в тайге?

— В тайге, Мирон Павлович!

— Так-так... Это ничего. Отохотятся и воротятся. Все сели? Но-о! — И Мирон Павлович, угнездившись на облучке, дергал вожжи.— Пошла!..

Лошадка дергала с места, кошевка, поскрипывая перемерзшими отводами, ходко двигалась вперед.



— Сено-то под собой умните,— советовал возчик.— Ловчее ехать будет.

Под горку он правил шибкой рысью, сани шли как по маслу, дорога была накатанная, ровная. Колокольчик часто-часто потренькивал. Наплывая с обочин, белели и оставались позади замотанные как в вату елки, топырились из сугробов прутья краснотала.

— Ноо-о, милая! — откинувшись корпусом назад, понукал лошадь Мирон Павлович и умело, заливисто посвистывал.

Ехать было сплошным удовольствием. Под полозьями повизгивает снег, а если, запрокинув голову, смотреть вверх, то видишь в узкой прорези дороги настылое, зимнее солнце и зеленые неплотные облака. Справа, на реке, наледью пузырится лед, слева плотным кольцом темнеет подлесок подступившей к дороге тайги да в белых шапках синеют кедры.

— Не могу терпеть слабого ходу! – делился с нами Мирон Павлович, обернувшись и отогнув ворот своей собачьей дохи.

Лицо у него от ветра и мороза побурело, но глаза веселые, с доброй слезинкой. От того сурового и неприступного извозчика, каким он казался поначалу, давно уже нету и следа. Мы сделали открытие: старик-бобыль страшно любил ребятишек. Любил всех без разбору – для него не было плохих или хороших, хулиганистых или смирных, даже ворчал он на нас всех одинаково, вынув изо рта трубочку, шмыгнув носом, бурчал:

— И кто тебя таким уродил?

Вопрос он задавал самому себе, но почему-то у самых непоседливых немедленно убавлял прыть и озорство. Умел старик ладить с ребятишками. Высшей наградой его расположения было разрешение править лошадью. Мне это счастье выпало дважды.

— Так... Бери вожжи, крепче их держи...— учил Мирон Павлович, усадив меня рядом с собой на облучок.

Внутри у меня не радость, а что-то большее, от чего душа поет петухом и хочется прыгать.

— Ноо-о... Пошла-поехала!

Взмотнув головой, налегая на хомут, лошадь берет с места, мы едем. Как через тончайшие струны, через вожжи мне передается ее движение, я, кажется, чувствую каждый взмах ее ноги, сознаю собственную власть — я правлю ездой. Натяну вожжи — лошадь встанет, поведу правой вожжой — повернет вправо, хлестну поводьями — пойдет быстрее.

Но что-то в езде не клеится, умная лошадка на ходу пытается обернуться, тянет вбок гривастую шею, а потом переходит на мелкую ступь.

пытается ухватить с дороги сиротливый клок сена, затем и вовсе останавливается. Колокольчик, слабо звякнув, замолкает, лошадь, позванивая удилами, сосредоточенно, с хрустом жует пересохший клок.

— Готово, приехали...— замечает Мирон Павлович, забирая у меня вожжи.— Иди, садись в кошеву, а я сейчас ее развеселю! — И он из-за высокого голенища валенка вытягивает сыромятный кнут на черемуховом кнутовище.

Я лезу в сани. Первое, что я чувствую, это завистливое молчание брата и соседского Кольки — мне выпала честь править лошадью, а им нет... Все молчат.

— Расселись? — спрашивает Мирон Павлович.— Держитесь крепче, счас попрем! — И ловко хлопнув в воздухе кнутом, резко, пронзительно свистит. Свист у него прямо разбойничий.

Прядая ушами и всхрапнув, лошадка, как-то избочившись, от неожиданности сперва шарахается вбок, потом несется вскачь наметом.

— Я тя отучу клочки собирать! — гаркает возчик.— Получи зажигание вдоль спины! — И вытягивает ее кнутом.

Что творится потом, трудно и невозможно описать. Все проваливается в какую-то яму, из которой одно спасение — движение вперед. Кажется, что сани оторвались от земли и несутся по воздуху. Сзади их взметаются язычки колючего снега, обочин не видно, они слились в сплошной неясный фон, лошадь, настеганная возчиком, несется, словно сумасшедшая.

Душа уходила в пятки от такой стремительной езды, и действительно, подскакивая и ныряя на ухабах, кошевка на миг отрывалась от дороги и оказывалась в воздухе. Ездить так можно было, только зажмурившись. Пищала, обмирая со страха, трусиха Зинка, стиснув зубы, воткнувшись головами в сено, жались друг к другу мы.

— Слазь, прибыли! — скомандовал Мирон Павлович, натягивая вожжи.

И верно, мы в деревне. От лошади, как от котла, валит пар, она часто-часто, будто кивая, машет мордой и через дугу опасливо косится на хозяина, раздувает бока и машет хвостом. Мы вылезаем из кошевы и молча разбираем сумки — вот стоит наша изба, из-под ворот, встречая нас, выскакивают собаки — мы приехали.

— Спасу от вас нету! — жалуется сама себе мама. Кто-то из нас опять обидел Женьку, и он, сидя на полу, громко ревет, размазывая слезы.—

Вовсе от рук отбились, неслухи... Вот воротится с охоты отец, он вам задаст!

Отец опять в тайге, и когда вернется, мы не знаем. Если охота будет удачной, то, пожалуй, он еще надолго останется в лесу — промыслового охотника, как пахаря, день кормит. Соседка тоже заждалась своего Ивана Максимовича, по вечерам заглядывает к нам, судачит с мамой.

— Вечером сели чай пить,— рассказывает она.— Ванька меньшой чашку опрокинул, а чаю пролиться — дождаться нечаянного, поди, скоро охотники наши из тайги явятся.

— Как знать, может, и скоро,— соглашается с нею мама.

— Ходила я к дедушке Ивану, тот, судя по приметам, год для промысла фартовым признал! — И Васса Дементьевна, загибая пальцы, перечисляет: — Перво... Снег на сырую землю пал... Второ... На Михайлов день трубы снаружи позакуржили. Потом... Тайга ореха не уродила и проруби в реке не заволакивает, а на улице ведь морозно!

— А охота тут при чем?

— Как при чем? Зверю нынче голод, в ловушки сам идет, снегу много, соболю из-под снегу корму просто так не достать.

— Да хоть бы скорее возвращались, с фартом или нет, а все дома!

— Скучаешь по своему?

— А ты как? Или нет?

— Ой, и не говори... Жду, жду, все жданки съела. Дров принести помочь некому, я ведь грузная! — И Васса Дементьевна, вздохнув во всю грудь, подправляет под платок свои волосы.

Охотников ждут все, даже дедушка Иван и тот, зайдя к нам, спрашивает озабоченно:

— Твой с хлебом-то как там? Поди, приел весь?

— Да уж должно так! — подсчитав что-то в уме, соглашается с ним мама и задумывается.

— Значит, скоро вернется, в тайге долго без хлеба не наживешь,— уверенно заключает старик, высыпает на стол кучку орехов и угощает нас: — Берите вот, паданка прошлогодняя, нынче-то ореха нету!

Мы, рассевшись по лавкам, щелкаем орехи. Они жесткие, от разгрызаемой скорлупы стоит треск.

— А сам, деда?

— Да куды мне... Моими зубами нынче и репы не взять! — И дедушка, опираясь на посошок, пошаркивая валенками, идет к себе.

...Через несколько дней, возвратясь из школы, мы видим в сенях подбитые камусом*, широкие отцовские лыжи.

— Папка воротился, папка воротился! — торопясь в дверях, кричим мы.

Но отца в доме нет. У входа лежат его зимние унты, рукавицы-мохнашки, а самого в избе нету.

— А папка где?

— Баню он топит, скоро придет! — отвечает нам мама.

Мы, не дослушав ее, мчимся к бане.

— Дверь полую оставили! — кричит нам она, но нам не до двери.

— Ага! Школьники явились! — восклицает отец. Он сидит на пороге, в дверь и в волоковое оконце* из бани валит крепкий синий дым — каменка в бане допотопная и топится по-черному. - Дай-ко, я вас обниму!

— Папка, а гостинца принес от зайца?

— Принес. Только заяц их тому послал, кто маму слушал и учился хорошо,— говорит отец, целуя нас.

Но мы и без гостинца счастливы, наш отец вот он, рядом, жив-здоров и веселый.

Вечером он нещадно парится, исхлестав о себя веник, долго отдыхает в предбаннике и домой возвращается разомлевшим. Мы к нему не пристаем, зная наперед, что сразу же после бани он ляжет отдыхать с дороги.

— Намерзся же я, мать, в тайге, холодно же было...— делится он с ней.— Вроде и в бане грелся, а изнутри до сих пор ледышка ледышкой.

— Поди, туго было там?

— Вас часто вспоминал, как вы тут без меня?

Маму он выслушивает, лежа на кровати и закрыв глаза, и не понять, спит он или еще нет.

Вечер.

На дворе мороз. Отец прыгает по избе на одной ноге, словно воробей: у него после неустанной таежной ходьбы разбередилась фронтовая рана. Мы видим, что ему больно, но помочь не в силах.

— Может, пихтой попарить ногу-то? — спрашивает мама.— Глядишь, и отойдет.

— Да хоть чем теперь ее парь, ладно меня фриц подковал, скачу, как рысак.

— А фриц, папа, страшный?

— Били морду и фрицу! — И отец сильным баритоном поет:

Серу уточку убили,
Детки громко плакали,
Я с фашистом рассчитался,
Только зубы брякали!..

Женька, удивленно вскинув голову, смотрит с пола на отца и пускает пузырь.

— Колька, мать говорит, что ты артистом без меня стал, мячами играешь?

Я молчу. У меня давно чешутся руки показать свое искусство.

— Чего онемел?.. Покажи, а я погляжу.

Я скорее залажу на печь и, отыскав мячи, начинаю ими жонглировать.

— Ну и ну!..— искренне удивляется отец.— Ты, оказывается, у меня хоть куда! Вот погоди, сдам пушнину, привезу тебе мячи настоящие!

От радости у меня замирает внутри, я знаю, если отец обещал, то купит для меня настоящие гуттаперчевые мячи.

— Отец, Жучка ощенилась! — сообщает отцу мама.

— Где, когда?

— Сегодня. Пошла корову доить, а они уже пищат.

— А чего же ты молчала? Неси всех в избу, на дворе холодно, могут замерзнуть и собаку тоже с ними сюда зови.

Мама выходит на улицу и скоро возвращается. Следом за ней в избу виновато проскальзывает Жучка. В полé телогрейки мама держит попискивающий клубочек крошечных слепых щенят.

— Сколько их? — интересуется отец, заботливо поглаживая Жучку.

— Пять штук принесла,— вздыхает мама.— Где их уместить-то?

— Неси в запечек. И Жучку туда же, молока ей дай, пусть полачет.

— Здравствуйте, хозяева!..— Напустив в избу холодного пара, на пороге вырастает Васса Дементьевна. Ивана Максимовича еще нет, он в тайге, и это беспокоит ее.— Да у вас прибыль! — говорит она, разглядывая щенят.— Вот вернется Иван Максимович, ты уж по-соседски одного дай ему, собаки у тебя добрые.

— Ладно, конечно, наделю.— И отец, морщась от боли, присаживается на лавку.

— И чего это он еще в лесу, как ты думаешь? — спрашивает соседка.

— Причины могут быть всякие. Видимо, хочет побольше пушнины добыть, и охота хорошо идет — жаль бросать...

— Беспокоюсь я, как он там? — вздыхает Васса Дементьевна.

— Ничего, не тужи. Вернется твой охотник с фартом, мешок соболей принесет.

— Дай бог, дай бог,— кивает головой соседка, и лицо ее от отцовских слов добреет.

Мама размещает Жучку с приплодом в запечье, щенята, слепо ползая, шуршат сеном и тонко пищат. А на улице давит мороз, расписывает окошки замысловатыми узорами.

* * *

— Ну, ребята,— говорила нам Галина Николаевна,— номер ваш готов, выступать будете на празднике в сопровождении музыки.

«Музыку» представлял заикастый, сухопарый парень Петя. Говорил Петя очень плохо, с большим трудом, да так, что понять его было тяжело. Но гармонистом был отменным, и ни одно торжество не проходило без его участия. Если хотели провести весело праздник, обязательно приглашали его. Петя мог играть все песни, вальсы, кадрили, польки.

Играл Петя, крепко зажмурив глаза, наотлет откинув голову. Пальцы его неуловимо скользили по ладам хромки, а правая нога выбивала такт. Нот он не знал, подбирал все на слух, а слух у него был удивительный.

— Сможете им подыграть? — спросила учительница у гармониста.

Петя долго пытался что-то ответить, но потом только утвердительно кивнул, что обозначало: «Конечно, подыграю!»

— Ребята, начали! — похлопав ладонями, объявила Галина Николаевна.

Мы с Витькой стали жонглировать. И Петя, поймав какую-то неуловимую связь между летающими мячами и мотивом, с ходу и безошибочно заиграл вальс «Амурские волны». Выворачивая ребристые меха, гудя басами, он так красиво и ловко сыграл вальс, что Галина Николаевна, с большим удивлением посмотрев на Петю, сказала:

— С вашими данными вам непременно музыке надо учиться. Почему вы не учитесь?

Петя, судорожно кривя губы, тщетно пытался рассказать, что живет он у тетки и помогать ему некому, а один в городе, без чьей-либо помощи, он потеряется и пропадет. Его историю мы знали: был Петя сиротой, работал конюхом в экспедиции, а все свое свободное время играл на гармони.

Наш номер был готов.

— Всех переплюнем,— сказал Витька.— Вот увидишь, еще и подарки потом получим! Ты смотри, не ошибись, а то во! — И он погрозил мне кулаком.

Что-что, а его кулак я знал и пообещал выступить на отлично.

— Ох, и мороз нынче, видать, ко крещенью еще сильнее прижмет! — ворчал Мирон Павлович, укутывая нас в кошевке теплой дохой.— Жмитесь друг к другу крепче, теплее ехать будет!

Мороз, действительно, стоит крепенький. Лошадь у Мирона Павловича заиндевела, хвост у нее в крупинках инея.

— Носа на ходу из-под шубы не высовывайте, вмиг ознобите,— предупреждает Мирон Павлович и трогает.

Первое, что я вижу, войдя в избу, это сиротливо лежащую с краю стола медвежью лапу. Сердце мое больно екает — я про нее давным-давно забыл.

— Идите оба сюда! — подзывает нас с братом отец.— Жучка вытащила из запечка лапу, вот лапа, а вот отрез! — И отец, отвернув на сундуке шкуру, совмещает их. Говорит он спокойно, ровно, и от этого еще тяжелее.— Кто из вас отрезал лапу от медвежины? — Глаза отца строго и ясно глядят на меня и брата, брови сдвинуты — таким я его давно не помню.— Чего набычились, отвечай, кто напакостил! — Последнюю фразу он почти выкрикивает, лицо его передергивается, наливается кровью.

— Я не хотел! — выдавливаю я из себя.

— А... Это ты нашкодил? — Жесткие, как железные клещи, пальцы отца, больно защемив мое ухо, тянут меня в угол.— Стой, поганец, тут дотемна, я тебя отучу шкуры кромсать!

— Отец, хватит с него! — уговаривает его мама.— Не станет он больше такого делать!

— Не потакай... Расхлябались тут без отца, я вам обручи-то подтяну! — И отец, поднеся к моему носу когтистую, косматую лапу, обещает: — Гляди, варнак! Еще раз попадешь на таком деле, руки оборву!

Я давлюсь слезами.

— Не вой! Шкодить, так медведь, а отвечать, так заяц!

— Отец, пусть он хоть разденется!

— Нет, пусть снопом стоит! Заслужил — получи.— И отец, барабаня пальцами по столешнице, будто мешок с железом свалив с плеч, тяжело вздыхает. Отойдет он еще не скоро, я это знаю и безропотно терплю наказание.

* * *

В избе от махорочного дыма не продохнуть и повисла тяжелая тишина. Мы на печи. Слушаем, что рассказывает отцу Иван Максимович. Вышел он из тайги нежданно-негаданно и сразу же пришел к нам с дедушкой Волковым.

— Прибежали к моему зимовью трофимовские...— рассказывает Иван Максимович.— И сразу же я почуял неладное...— В тайге он зарос клочкастой бородой, охотничья куртка-курмушка прожжена у костров, а руки огрубели от мороза и от копоти, все черные.— А самого Трофимова нету. Я было собак стал вечером кормить — не едят, а кобель морду вверх и воет, воет... Сомнение взяло меня: «А где же сам-то охотник?» Хорошо. Утром я понягу на плечи, встал на лыжи и к его зимовью марш не стой. Ладно... Стал спускаться с хребта, два следа заметил, первый лыжный, другой медвежий след... А какие сейчас в тайге медведи? Сытые в берлогах спят, а худые по лесу шатаются... Зарядил я пулей ружье, еще раз оглядел следы и вижу — не охотник за медведем шел, а медведь крался за охотником... К тому же, трофимовские собаки... Где это видано, чтобы от живого охотника собаки уходили? Нигде. Значит, нету охотника в живых... Шел я с большой опаской, скрадом и набрел на то место, где Трофимова задрал и съел шатучий зверь...

— Это Степана-то? Такого охотника!

— Его. Сцепились они... Снегу поистолкли — страсть! Я нож в снегу нашел, пырнул им, видать, Трофимов зверя — лезвие в крови. Да, видно, оплошал — лыжи снять не успел, медведь его и сбил с ног, почти всего сожрал... Что осталось от Степана, я в мешок собрал, в предбаннике у меня тот мешок лежит.

Все, что рассказывает Иван Максимович, кажется нам сказкой со страшным концом. Но почему так сосредоточенны и угрюмы взгляды взрослых? Кажется, что какая-то невидимая, властная над всеми сила сделала их всех на одно лицо.

— Идем к бане, поглядим!..— роняет отец.

Взрослые быстро и деловито выходят из избы, мы, спорхнув с печи и выскочив во двор, прилипаем к щели в заборе. Нам хорошо виден угол предбанника и мужчины возле него. Они молчат, переминаются. Дедушка Иван сокрушенно потряхивает головой, а отец тяжело вздыхает.

— А ну в избу бегом! — махнула на нас руками, как на кур, мать.—



От горшка два вершка, а туда же! Марш в избу.— Говорит она невнятно, лицо у нее побелело и в слезах.

— Надо идти шатуна добывать! — решает Иван Максимович.— Медлить нельзя, далеко он не ушел, там и шатается... Как ты?

— Иду! — отец ерошит свои волосы и спрашивает: — Когда выходим?

— Сегодня.

— Застрелить его, людоеда, иначе еще кого сгубит, ишь намастырился народ жрать! И я с вами.

— Куда тебе, старый? — останавливает деда Иван Максимович.— Ты свое отохотился...

— Ты меня перед народом, Ванька, не срами! — громко спорит старик.— Я их бил, когда тебя в зачатке еще не было. Молод меня учить... Думаешь, я под медведями не леживал? На, гляди!..— И старик, потешно-быстро завернув подол рубахи себе на спину, оборачивается к охотникам. Через спину у него, словно хрящ у осетра, белеют пухлые, рваные шрамы.— Я ума еще не прожил, не слепой, так советом вам пособлю... Ехать надо на санях, старым зимником, быстрее будет. Покуль вы шатуна бить пойдете, я при коне останусь...

— Дедушка-то дело говорит, — замечает отец.— На коне скорее получится!

— А как же! — кивает головой дед.— А случись что, кто его знает, сомнет кого шатун, на себе пораненного из тайги потащишь?

— И верно... — покряхтывает Иван Максимович.— Правильно ты, дедушка, рассудил.

Еще посоветовавшись, как им ловчее выследить и уничтожить медведя-людоеда, охотники идут собираться.

— Отец! — уговаривает отца мама, бестолково суетясь у порога.— Не ходи ты в тайгу, нас пожалей, ребятишки еще совсем малые!

— Не перечь, не разговор завела! — каким-то чужим голосом останавливает ее отец.

Он достает двустволку, протирает ее от смазки.

— Степана задавил и съел, вас может покалечить, оставьте вы его в покое, с голоду-холоду сам подохнет!

— Помолчи! Собирай харчей дня на два, на три...— И отец, проверив патронташ, пристегивает к поясу острющий, словно бритва в полтора вершка, охотничий свой нож.

Мама привычно укладывает котомку. Она какая-то сникшая и очень растеряна.

— Собрался? Пошли! Дедушка в санях ждет! — коротко зовет отца Иван Максимович, заглянув к нам в избу, и тотчас же выходит.

— Евгений! — И мать, повиснув на плече у отца, плачет.

— Не плачь, не на фронт ведь провожаешь! Давайте присядем на дорожку... Ребята, устраивайтесь на лавку, немного посидим.

Мы присаживаемся, ноги у нас не достают пола, сидим как воробышки на заборе, в избе тихо.

— Ну, я пошел! — Отец, поднявшись, целует Женьку, затем обнимает нас.— Слушайте маму, меня ждите, я скоро вернусь.

Облепив окошко, мы смотрим на улицу. Возле саней-розвальней собрались люди. Вон стоит Иван Максимович и, надевая рукавицы, внушает что-то Вассе Дементьевне. Она, сильно дыша, отчего пар из ее рта клубится на полметра, сосредоточенно слушает, что ей говорит муж. Отец наш, с патронташем и ножом на поясе, неумело завязывает на мамином подбородке распустившийся платок. Лицо его спокойно. Он тоже что-то говорит маме, нам видать, как шевелятся его губы.

Дедушка Волков, внезапно, неожиданно помолодевший, бодро ковыляет вокруг саней. На нем теплая, охотничья полудошка и из лосиного камуса высокие унты, за спиной тускло мерцает ствол берданы. Деда во всей этой амуниции сразу и не узнать. Да и сам он как-то распрямился и ростом будто выше стал. Наконец сани с охотниками отъезжают, женщины долго стоят на дороге, пока те не скрываются за поворотом.

— А-аай! — придушенно кричит Витькина мать, судорожно хватаясь за мешок. Голос у нее хриплый от слез.

Мы все во дворе, возле бани. Женщины пытаются отнять у нее мешок, но она, крепко притиснув его к груди, не отпускает.

— Степа, ты мой Степа!.. Что же с нами ты наделал... Как же это ты поддался...— сквозь сплошные слезы шепчет женщина.

Платок у нее сполз на затылок, и длинные, густые волосы, растрепавшись, падают на грудь и мешок. Смотреть на это невыразимо страшно.

— Будет тебе, будет...— уговаривает ее Васса Дементьевна.— Отдай мне это, успокойся.

Витька стоит рядом со мной, во все глаза смотрит на мать. Я замечаю на Витькиной щеке бусинки слез. Его плечи мелко-мелко потряхиваются, он, будто чем подавившись, старается проглотить застрявший в горле комок и дышит прерывисто, неровно.

Витькину мать долго и надоедливо уговаривают, наконец, завладев мешком, несут его в сани и укладывают под сено, в пёредок.

Спотыкаясь и оскальзываясь на ровной дороге, женщина будто сослепу тычется в стороны, и ее, словно больную, ведут к саням под руки. Незнакомый мне мужчина, разбирая поводья, покашливает, словно в горле у него запершило, а в воздухе стоит отчаянный вдовий крик.

— Воды ей надо дать, пусть попьет, — советует мама.

Витькина мать уже не кричит, не плачет, а, кусая губы, раскачивается в санях, взгляд ее блуждает, не замечая ничего, как у помешанной. Рядом с ней сгорбился Витька. Сидит он, неловко упираясь коленями себе в грудь. А вокруг них суетятся люди, стараясь хоть что-то, да делать, лишь бы не стоять на месте. За кромкой сопки гаснет закат, окрашивая снег в розоватый, холодный цвет.

Вечером в доме у нас тихо, даже плакса Женька и тот почему то молчит. Сидит на полу и тискает в руках резиновую игрушку со свистком.

— Мама, а папка скоро воротится?

— Скоро, ребятишки, скоро...— И мама тяжело вздыхает.

Спать мы укладываемся поздно. Долго не можем заснуть, за день навиделись и наслышались такого, что уснуть трудно.

На следующий день, к полудню, возвращаются охотники. День стоит морозный, чистый. Лошадь испуганно всхрапывает, не желает стоять на месте и, прядая ушами, бьет копытом о снег. Собравшиеся со всей деревни собаки громко, заливисто лают. К саням за веревку привязан бурый, со свалявшейся шерстью медведь-людоед. Привезли его охотники волоком — так обычно в деревнях возят пропастину-падаль.

Отец неумело скручивает цигарку, прикуривает, молча гладит нас и, затянувшись, кашляет с непривычки к табаку.

Дедушка Иван, взяв под уздцы коня, похлопывает его ласково по морде рукавицей:

— Стой тихо. Чего ты? Шатуна боишься?.. Не бойсь... Счас он не страшный.

Мама, Васса Дементьевна, ее ребятишки и мы, окружив зверя, внимательно рассматриваем его. Пасть у людоеда оскалена, между матовых, в палец клыков торчит узкий, бледный язык.

Шатун лежит на спине, тусклые, зеленоватые глаза его безжизненно уставились в одну точку. Справа от переносицы стреляная рана величиной



...рятак. Зверь, крюковато поджав к шерстистой груди когтистые, длинные лапы, даже мертвый кажется опасным и злым, лежит на дороге тяжелой, угловатой глыбой.

Охотники устали, двигаются медленно, через силу.

— Уничтожили шатуна! — говорит Васса Дементьевна.— Какого охотника погубил... Жить бы да жить Степану.

— Папка, а медведь был страшный? — интересуемся мы.

— Страшный,— соглашается отец.— Шибко страшный.

Говорит отец вяло, с неохотой, так обычно отвечают люди, сделавшие трудную, но нужную всем работу.

— На задворья эту падину надобно утащить, пусть ее воронье по косточкам расклюет! — говорит дедушка Иван.— Што, попрем его, мужики?

Иван Максимович, дедушка, отец, взявшись за веревку, волокут зверя к реке и сбрасывают с крутого угора. Медведь бревном перекатывается вниз и лежит на синем с трещинами льду.

— Готово, окачурился! — шутит всерьез Иван Максимович.— Как ни бегал ты от нас, а пульку тебе пришлось попробовать...

Отец в избу идет медленно, с нами не шутит, не разговаривает.

— А медведя кто добыл?

— Добывали, ребята, все мы.

— А зачем шатун съел дядю Степана?

Отец не отвечает, снимает куртку, разувается.

— Устал я, мать, дай-ко мне чаю, да погорячей. Намерзлись мы...

Мама ни о чем отца не расспрашивает. Она быстро собирает на стол, но мы видим, что она несказанно рада — муж вернулся из тайги невредимым.

* * *

В школу Витька пришел на второй день после похорон. Что-то резко изменилось в нем, он стал взрослее.

— Медведя того, что твоего отца съел, добыли и в деревню к нам привезли,— сообщил я Витьке.— На льду валяется, ну и страшный!

— А папки больше нету! — буркнул Витька.

Он стал молчуном. Даже со мной почти не разговаривал, скажет неохотно слово-другое и опять молчит. На переменах из класса не выходил, так и сидел за партой.

— Витька, пирога с морковкой хочешь? — совал я ему пирог.

— Отстань от меня со своими пирогами!

Галина Николаевна ни разу не сделала Витьке замечания за то, что он не записывает урока, а как истукан сидит, весь одеревенев. Все понимали, что беда крепко подложила его.

— Виктор, скоро Новый год. Будешь выступать на утреннике? — спросила Галина Николаевна.— Я не настаиваю, чтобы ты выступал.

Витька промолчал.

Быстро подошел праздник. За день до утренника Мирон Павлович привез большую пахучую, разлапистую елку.

Галина Николаевна велела передать родителям, чтобы они обязательно приходили вместе с нами.

— Приглашайте ваших пап и мам. Передайте им, что на утреннике будут ваши выступления, песни, музыка, пусть обязательно приходят!..

Утром Мирон Павлович прикатил к нам в деревню по случаю праздника весь какой-то торжественный. Вместо собачьей дохи на нем красовалось пальто из серого драпа с каракулевым воротником и такая же, под цвет воротника, шапка. На лошади была новая уздечка с набором и бубенцами — шаркунами. Даже игривые кумачовые бантики были приделаны к этой уздечке.

— Все расселись? Но-о, пошла!..— И, свистнув, Мирон Павлович хлопнул в воздухе кнутом.

Мы приехали на праздник: признаюсь честно — я поначалу не узнал нашего класса. Парт не было. Посреди класса стояла, доставая макушкой потолка, елка. Кто-то из геологов смастерил из мелких лампочек гирлянды разноцветных огней, и это казалось чудом.

Мы припозднились, и утренник вовсю уже шел. Галина Николаевна в нарядном темном платье с брошью у плеча вела программу, дирижировала. Присутствие взрослых на утреннике делало его необычным. Но всех интереснее мне казались Снегурочка и Дед Мороз в красном кафтане.

Не знаю, но я поверил почему-то, что Дед Мороз настоящий и пришел на праздник из леса. Блестящие игрушки, бумажные гирлянды по стенам, огни на елке, веселая толкотня, Петя, наигрывавший на гармонике что-то веселое, девчонки, наряженные снежинками, маски, песни, танцы — все это перемещалось в моей голове быстрой каруселью. На настоящем празднике я был впервые.

В общей суете я отыскал Витьку. Он стоял в углу, возле окна, пальцем ковыряя ледок на стеклине.

— Ребята, а вы почему в стороне? Идите веселиться со всеми! — подошла к нам учительница.

— А можно нам выступать? — тихо спросил Витька.

— Конечно, даже непременно! Ведь вы так прекрасно подготовили свой номер! И мячи тут, в школе... Идите, берите мячи!

— Минуточку внимания! Ребята, родители! Сейчас перед нами выступят жонглеры — Витя из четвертого и Коля из первого класса. Музыку, пожалуйста!

Петя взял первые аккорды, мы стали жонглировать. Как здорово у нас получалось, я даже не ожидал. Мячи как бы сами собой оказывались в воздухе, высоко и плавно взлетали, кружились у нас кольцом и перелетали из рук в руки вновь и вновь. Петя подыгрывал нам великолепно, с душой.

Нам долго аплодировали, а Дед Мороз вручил в бумажных кульках подарки. В кульках были печенье, конфеты и по яблоку. Зазевавшись на Деда Мороза, я потерял Витьку из вида, снова пошел искать его, но в классе его не было. Нашел я его возле парт, в коридоре. Он стоял ко мне спиной, плечи его тряслись в молчаливом плаче.

— Витька, не плачь, ведь Новый год! — говорил я ему.— Хочешь мой подарок пополам разделим? Гляди, даже яблоко в нем есть.

Но Витька или не слышал, или не слушал меня. Он торопливо, неумело отирал ладонями со щек слезы и был таким одиноким, что мне стало грустно и почему-то стыдно за себя.

— Неправда, что папки у меня больше нету... Он в тайге еще. Вот кончит охоту и вернется...— И Витька посмотрел на меня таким одичалым от тоски взглядом, так горестно и тяжело вздохнул, что я понял — нельзя ему сейчас надоедать, и свое горе он должен пересилить сам, один на один.

После каникул мы виделись с Витькой в последний раз. Он уезжал в район к дяде, за сорок километров от нашей деревни. Витькины родственники решили, что у дяди ему будет лучше: матери не прокормить одной троих детей, а Витьке с пятого класса все равно нужно было ехать туда — учиться дальше.

— Увозят тебя? — спросил я у него.

— Увозят...— Он, наморщив лоб, думал о чем-то своем, но потом,

спохватившись, достал из кармана свою замечательную зоску и протянул мне.

— На, держи! Дарю тебе насовсем!

— А сам как? — спросил я его.

— Ничего, обойдусь!

Он быстро, круто повернулся и пошел по коридору к выходу. А у меня на ладони остался его подарок — кусочек медвежьей шкуры с приделанной к ней пластинкой свинца. Теперь с Витькиной зоской я мог обыграть кого угодно — до того она мастерски была сделана. Я иногда думаю: кем была сделана эта зоска — Витькой или его отцом?



СЛОВАРЬ

Ба́ять — говорить, рассказывать.

Волоко́вое оконце — маленькое задвижное окошко, в которое выволакивает дым из курной избы или бани.

Голи́к — веник из голых прутьев.

За́стить — закрывать, загораживать.

Зоба́ть — торопливо, жадно есть.

Измо́згнуть (мо́згнуть) — испреть, сгнить, испортиться изнутри.

Ка́мус — полоса шкуры с ноги оленя, которой подбиваются лыжи, обувь шерстью наружу.

Куть — огороженный или занавешенный угол в крестьянской избе около печи, где готовили пищу.

Ку́хта — косматый иней на деревьях, кустах.

Моро́шно, моро́ка — сумрак, мрачность, мгла.

Набузо́литься (бузова́ть) — громко, жадно наглотаться, напиться.

Наме́дни — недавно, несколько дней назад.

Поня́га (паня́га) — заплечные одиночные носилки (из бересты или плетеные) сибирских лесников.

Томаши́ть — трогать, тревожить.

Чай — здесь в сочетании с местоимением «я» — я чай — употребляется как предположение: вероятно, пожалуй.

Юксы, ю́кса — стремя, стремянка на лыжах для ноги.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Отзывы об этой книге просим присылать по адресу: 125047, Москва, ул. Горького, 43. Дом детской книги.

Литературно-художественное издание

Для среднего возраста

Евдокимов Николай Евгеньевич

МЕДВЕЖИЙ УГОЛ

Повесть

Ответственный редактор
И. В. Пахомова
Художественный редактор
Л. Д. Бирюков
Технический редактор
Н. Ю. Крапоткина
Корректор
А. В. Паришева

ИБ № 11909

Сдано в набор 24.05.90. Подписано к печати 25.02.91. Формат 70×90 1/16. Бум. офс. № 1. Шрифт школьный. Печать офсетная. Усл. печ. л. 5,85. Усл. кр.-отт. 12,87. Уч.-изд. л. 5,39. Тираж 100 000 экз. Заказ № 303. Цена 80 коп. Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Министерства печати и массовой информации РСФСР. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.

Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Министерства печати и массовой информации РСФСР. 170040, Тверь, проспект 50-летия Октября, 46.





80 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»



PHOTOS BY ANDREY G AKA DONUT190